ЛАСКОВЫЙ ЗВЕЗДОЧЕТ

КНИГА 1

ГОРОД НА ХОЛМЕ

Ласковый Звездочёт

Город на холме. Книга 1

«Автор»
2026

Звездочёт Л.

Город на холме. Книга 1 / Л. Звездочёт — «Автор», 2026

Боевой пловец. Офицер разведки в запасе.Гражданский контракт: ночное обследование странной гидроакустической аномалии в Эгейском море. Последнее погружение. В обоих смыслах.Он приходит в себя на берегу, которого нет ни на одной карте. Солнце стоит высоко — а в воду он вошёл в двадцать три сорок. Это первое, что не сходится, и он не позволяет себе на это смотреть. После кислородного голодания мозг врёт первым, а тело вторым, поэтому сначала счёт: пальцы, кисти, локти, шея, колени, ступни. Потом — вслух, полностью, по форме: Корсаков Глеб Андреевич. Военно-морской институт, Санкт-Петербург, выпуск две тысячи двенадцатого. Северный флот, Полярный. Позывной «Корсак». Капитан третьего ранга.Всё сошлось. Не сошёлся только мир вокруг.Двенадцать лет службы никуда не делись — они и вытащат его с этого берега живым. Но звания здесь нет, флота здесь нет, и человека по имени Корсаков здесь тоже нет.В каждой главе приводит фрагмент уникальных знаний, которые помогли ему выжить.

© Звездочёт Л., 2026
© Автор, 2026

Ласковый Звездочёт
Город на холме. Книга 1

Глава 1 "Соль на губах"

Глава 1. Соль на губах

Первым вернулся вкус.

Соль, железо и гниль — водоросли. Язык распух, не помещался во рту, присох к нёбу, и когда я попробовал его отлепить, из глотки пошёл сухой скрежещущий звук.

Я испугался этого звука.

Потому что не сразу понял, что это я.

Я лежал лицом вниз.

Щека на мокрой гальке, левая рука подвёрнута под грудь, ноги в воде по колено. Вода накатывала и уходила, накатывала и уходила, и каждый раз чуть сдвигала меня. На палец. К себе.

Море ещё не решило, оставить меня или забрать обратно, и, кажется, пока склонялось ко второму.

Это была первая мысль, которую я сумел додумать до конца.

Вторая была хуже.

Я не знал, дышу я сам — или мне это только кажется.

Считай.

Так учат. Не «вставай», не «оглядись», не «зови» — считай.

Потому что мозг, посидевший без кислорода, возвращается не весь и не сразу, и первое, что у него отваливается, — это способность понять, что он врёт. Человек чувствует себя нормально. Человек уверен, что соображает. Человек при этом может не помнить, как его зовут, и не замечать этого. Может увидеть то, чего нет. И, и натворить глупостей.

Три года в нас это вбивали, пока не стало рефлексом вроде отдёргивания руки от горячего.

Сначала считаем и самообследуемся. Потом называем себя. Стараемся не смотреть.

Раз — пальцы правой. Все шесть. Шевелятся. Стоп! Шесть? Нет, пять, все хорошо.

Два — левой. Есть. Мизинец не слушается. Но все пальцы на месте – хорошо.

Три — кисти.

Четыре — локти.

Пять — шея. Поворачивается, и по спине от этого проходит длинная горячая проволока. Понял.

Шесть — колени. Болят.

Семь — ступни. Обе. Холодные, в воде.

Я досчитал до семи… не помню, что было на четыре. Ладно.

Начал заново.

Со второго раза сошлось.

Вот это — что со второго, а не с первого, — я себе и отметил. Не «всё в порядке». А «мозг врёт, верить ему пока нельзя».

Всё на месте. Мизинец всё ещё не шевелился, разберёмся потом.

И тут я заметил ещё одно, и оно мне очень не понравилось.

Сквозь закрытые веки било красным.

Я зажмурился сильнее. Красное не ушло. Оно шло ровно, плотно, сверху — так бьёт только солнце, и только когда оно высоко.

А спину, от лопаток до икр, жгло.

В воду я вошёл в двадцать три сорок.

Я лежал ещё секунд десять с закрытыми глазами и не открывал их совершенно сознательно.

Потому что глаза — это последнее.

Мозг врёт первым, тело вторым, а глаза покажут ровно то, во что ты уже готов поверить. Начнёшь со «смотреть» — поверишь всему, что увидишь, и потом полдня будешь строить план на том, чего нет. Спасибо, товарищ инструктор, спасибо, что вбил это в голову.

Сначала называемся.

Кто ты.

Вслух или про себя — но обязательно словами, полностью, по форме:

Корсаков Глеб Андреевич.

Тысяча девятьсот восемьдесят девятого года рождения. Псков.

Военно-морской институт, Санкт-Петербург, выпуск две тысячи двенадцатого.

Четыреста сорок восьмой отдельный морской разведывательный пункт специального назначения. Северный флот, Полярный. Двенадцать лет. Командир разведывательной группы, потом заместитель командира отряда. Позывной «Корсак».

Капитан третьего ранга. В запасе с весны двадцать четвёртого.

Гражданская специальность — водолаз, подводно-технические работы.

Задача: ночное обследование странной гидроакустической аномалии, глубина сорок два метра, восточные Киклады, Эгейское море, Греция. Начало погружения — двадцать три сорок.

Напарник — Марк Дулис.

Я прогнал это всё от начала до конца и не сбился ни разу.

Всё сошлось. Всё, кроме одного: где я сейчас — я не знал. Ну и ещё того, что было после двадцати трёх сорока. Этого я тоже не знал.

И только теперь до меня дошло, чьим голосом я всё это себе говорю.

Гуляев. Капитан второго ранга, инструктор, третий курс. Барокамера, ледяная вода в бассейне, вечное его занудное:

«После кислородного голодания мозг врёт первым, а тело — вторым. Поэтому сначала считаем и называемся, потом смотрим. Начнёшь со смотреть — поверишь всему, что увидишь».

Мы звали его за глаза Занудой и передразнивали в курилке.

Спасибо, товарищ капитан второго ранга. Двадцать лет прошло, а я лежу мордой в камень, считаю пальцы и представляюсь пустому месту, и это единственное, что меня сейчас держит.

Теперь можно было смотреть.

Я открыл глаза, и меня чуть не вырвало.

Света было слишком много, и падал он почти отвесно, сверху, как в операционной. Я зажмурился так, что под веками поплыли красные пятна, и открыл снова, медленно, через щёлочку. Ничего не изменилось.

Я поискал глазами свою тень. Она лежала подо мной — короткая, сплюснутая, шириной в плечи. Тень человека, над которым солнце стоит почти в зените.

Полдень. Последнее, что я помнил, была ночь. Между этими двумя фактами лежало часов двенадцать, которых у меня не было.

Я перевернулся на спину, и вот тут заорал уже по-настоящему.

Спина.

Спину как будто разом прижали к раскалённому листу. Я лежал лицом вниз незнамо сколько часов под июльским солнцем, и от лопаток до поясницы всё было сожжено — багровое, натянутое, в мелких пузырях по плечам. При каждом движении кожа тянула, как тесная одежда на размер меньше.

Одежда.

Я поднял голову и посмотрел на себя.

На мне не было ничего. Ни костюма, ни его лоскутов, ни белья, ни обуви. Море раздело меня догола и вылизало.

Осталось одно, и я не сразу понял, почему именно оно.

На левой ноге, чуть ниже колена, сидели ножны. Резиновый строп в две петли, потёртая застёжка — и вокруг него, выше и ниже, кожа была содрана до мяса. Ремень я затягивал под коленом поверх костюма, туго, как учили, чтобы ножны не гуляли при работе ластами. Когда с меня сдирало костюм, строп остался там, где был, — и снимал он уже не резину, а меня.

Под ним лежала белая вздутая борозда шириной в палец.

Я потрогал её и понял, что не чувствую пальцами ничего.

Я нащупал рукоять и вытащил нож.

Титан, четырнадцать сантиметров, полусеррейтор, чёрное покрытие местами сошло до серого. Куплен восемь лет назад в Мурманске, за деньги, которые тогда казались дурными. Целый.

Больше не было ничего. Ни маски, ни ласт, ни грузового пояса, ни баллона, ни обвязки, ни шланга, ни компаса, ни часов, ни фонаря, ни свистка, ни того идиотского жёлтого поплавка, который Марк каждый раз заставлял цеплять.

Голый мужик с ножом.

Я сел, обхватил колени и минуты полторы просто дышал.

Тут вот какая штука. У боевого пловца снаряжения на нём — как на альпинисте, только всё дороже и всё убивает, если отказало. Ты живёшь в списке: проверяешься по списку, входишь в воду по списку, выходишь по списку. Двадцать лет.

А теперь список кончился на первой строке.

И вторая мысль, следом, тихая: список кончился, а я — нет.

Я потрогал костяшкой лоб — он был горячий, как чайник, — и встал.

С третьей попытки. На третьей меня всё-таки вывернуло желчью, но я остался стоять, и это я записал себе в успех.

Галечная полоса метров сто, зажатая между водой и сухим склоном. Слева берег уходил в отмель и там желтел песком, справа начинались обрывы — невысокие, метров двадцать, но отвесные. За спиной склон полз вверх, в низкий колючий кустарник, серый от пыли.

Море было тихое, синее и очень спокойное. Такое спокойное, будто оно тут вообще ни при чём.

Я стоял и слушал.

Цикады. Прибой. Больше ничего.

Ни катера. Ни компрессора. Ни трактора где-нибудь наверху, ни мотороллера на серпантине, ни музыки из таверны, ни собаки, ни самолёта. В Средиземноморье в июле всегда что-то работает: всегда где-то тарахтит, всегда кто-то что-то везёт, всегда над горизонтом ползёт паром.

Тишина стояла такая, что я слышал собственную кровь.

Я задрал голову. Небо было выцветшее, добела, без единого облака. И без единого следа.

Над Эгеидой в начале июля небо расчерчено инверсионкой, как школьная тетрадь. Афины, Стамбул, Тель-Авив, транзит на восток. Всегда хотя бы один. Обычно три, четыре, пять — свежие белые и старые размытые.

Ни одного.

И вот тут я сделал первую свою ошибку на этом острове.

Я собрал всё это в один вывод, и вывод получился гладкий: остров необитаемый.

Он собирался легко, вот в чём беда. Нет моторов — некому. Нет самолётов — в стороне от трасс, мало ли таких скал в Эгейском. Отнесло дальше, чем я думал, выкинуло на голый камень, и теперь я один.

И, приняв это, я немедленно начал работать по этой версии, потому что человек не сидит с открытым вопросом: он хватает первый ответ и начинает под него строить.

Дальше я действовал грамотно. Вода — тень под северным склоном, трещины с конденсатом, подошва склона. Сигнал — мыс с круговым обзором и топливо для дымного костра. Режим — днём лежать, работать ночью.

Я развернулся и пошёл вправо, к обрывам, потому что обрывы — это высота, а высота — это обзор.

Сорок минут я лез вверх по осыпи, обгорелый, без воды, тратя то немногое, что у меня оставалось, — и всё это время был совершенно уверен, что делаю единственно верное дело.

Мозг врёт первым.

Он врёт не тем, что подсовывает бред. Он подсовывает очень разумное. Врёт он тем, что ты этого не замечаешь.

Сверху я увидел море, мыс на севере, землю в дымке на востоке — и ни одной крыши, ни одной тропы, ни одного столба.

И только когда сел и стал думать, откуда потащу дрова, до меня дошла простая вещь: я ни разу не позвал Марка.

— Марк!

Я сам не заметил, как заорал.

— Ма-арк!

Голос сорвался на первом слоге, вышло сипло и жалко. Я разозлился, набрал воздуха и заорал снова, во всю глотку, разрывая сухое горло:

— Ма-а-арк! Марк, отзовись!

Эхо ударилось в обрыв и вернулось. Больше ничего не вернулось.

Я пошёл вниз, потом побежал, и это было глупо, и я знал это уже на пятом шаге: при обезвоживании бегать нельзя, а при таком ожоге тем более. Остановиться я не мог. Я бежал вдоль воды и смотрел на камни, потому что если его выкинуло где-то тут, то он тоже лежит, и он может быть жив, и каждая минута...

Метров через двести встал. Не потому, что решил: колено подломилось, меня повело в сторону, я упал на четвереньки и остался так стоять, глядя в гальку.

Гальку я и увидел.

Точнее — то, чего в ней не было.

Я стоял на четвереньках носом в линию прибоя. Ровная тёмная кайма: водоросли, обломки раковин, сухие палки, перья, куски пемзы, какие-то стебли.

Ни одной бутылки. Ни крышечки. Ни клочка полиэтилена, ни обрывка сетевого шнура, ни куска пенопласта, ни зубной щётки, ни зажигалки, ни тапка.

Я в жизни не видел пляжа без пластика в линии прибоя. Ни разу. Даже на голых скалах, где вообще нет людей, кайма забита цветным крошевом: море всё сносит в одно место.

Я разгребал водоросли, пока не заболели пальцы. Прошёл ещё тридцать шагов и разгребал там. Пусто.

— Заповедник, — сказал я вслух. — Частный остров. Убирают по утрам.

Объяснение было. Оно противоречило предыдущему — «убирают по утрам» плохо сочетается с «тут никого нет», — но обезвоженная голова этого не заметила, потому что ей было важно не сойтись, а успокоиться.

Я поднялся и пошёл дальше.

Козий помёт увидел метров через тридцать.

Сухие чёрные катышки на камне у самой воды, и выше по склону ещё, целая россыпь.

Я стоял над ними и, честное слово, чуть не засмеялся.

Козы. Значит, скот. Значит, люди. Значит, вода — коз без воды не держат, коза пьёт каждый день. Значит, где-то наверху источник или цистерна, и есть человек, который к ней ходит.

Плечи отпустило так, что я почувствовал, как они до этого стояли.

А следом пришло другое, неприятное.

Сорок минут вверх по осыпи, на обзор, за дровами для костра, которым я собирался звать сюда людей, — а люди были тут всё это время, и коза их гуляла по берегу, и катышки лежали на виду. Часть старая, серая. Часть свежая, глянцевая, вчерашняя.

Я мог бы увидеть их сразу, если бы не был так занят собственной правотой.

Потом были следы.

Босые, взрослые, не свежие — вчерашние или позавчерашние, край уже осыпался. Двое. Шли к обрывам и обратно.

Босиком. По этой гальке. По июльскому камню, на котором у меня через минуту зашипела бы подошва.

Я сложил это в отдельную стопку — к небу, к тишине и к линии прибоя — и решил разобрать позже. Стопка набиралась быстро.

А потом увидел борозду.

Она начиналась у воды и шла наверх, к камням, метров двадцать. Широкая полоса развороченной гальки, а по краям — короткие рваные отметины, будто кто-то греб локтями. В двух местах на камне была кровь. Немного, и уже коричневая.

Полз. Один. Долго. Левой стороной себе почти не помогал.

Я побежал, и на этот раз ноги держали.

Он лежал в тени под глыбой, лицом к склону, подтянув правое колено к животу, и на первый взгляд был мёртвый.

Мальчишка. Лет тринадцати. Худой до рёбер — не по-модному худой, а как бывает у тех, кто всю жизнь ел ровно столько, чтобы не умереть. Тёмный от солнца, чёрные слипшиеся волосы. Голый, если не считать тряпки на бёдрах, подвязанной верёвкой. На правом предплечье старый ожог — бледная блестящая клякса от локтя до кисти.

Поперёк левой голени лежала доска.

Не доска — кусок борта: толстый, гнутый, серый, с чем-то деревянным, торчащим сверху. Метра полтора длиной. Внизу под ногой был камень.

Я опустился рядом на колени, и всё стало очень тихо и очень чётко, как бывает, когда наконец появляется работа.

Дышит. Часто, поверхностно. Пульс на шее есть — нитевидный, за сто. Кожа холодная и липкая.

На такой жаре. В тени. Холодная и липкая.

Шок. И сидит он в нём уже часы.

Рана была на внутренней стороне бедра — рваная, в ладонь, с завёрнутым краем.

Она не текла. Он лежал на этом боку, всем своим невеликим весом прижав её к плоскому камню, и она запеклась: чёрная корка, песок, налипшая крошка водоросли.

Я подвёл под него руку, чтобы посмотреть, — и корка лопнула.

Тёмное, ровным током, без толчков.

Венозная.

Я выдохнул — впервые с той минуты, как побежал. Артериальную он бы не пережил и получаса, и я бы сейчас сидел не над раненым, а над телом. А эту он всю ночь держал собственным весом, и открывалась она дважды: когда полз, оставляя коричневое на камнях, и вот сейчас.

Третий раз ему устроил я.

Порядок.

Кровь. Освобождение. Кость. Тень. Вода.

Воды нет. Значит: кровь, освобождение, кость, тень.

Я потянулся за подсумком, которого не было.

Секунду смотрел на собственную голую ногу, где должен был висеть кровоостанавливающий пакет. Потом на голые руки. Потом на пустой пояс, которого тоже не было.

Ни бинта. Ни жгута. Ни турникета, ни гемостатика, ни перчаток. Ни куска ткани на всём моём теле.

У меня был нож. И всё.

Нас учили работать из ничего: на отдельном курсе инструктор в начале занятия отбирал аптечку и говорил, что она утонула. Ремень, ножны, стропа, чужая одежда, кусок камеры. Всё, что жмёт и не рвётся.

У меня не было ни ремня, ни стропы, ни одежды.

Зато у мальчишки была тряпка на бёдрах. И на доске, придавившей ему ногу, я уже заметил обрывок верёвки, намотанный вокруг деревянного выступа.

Я взялся за эту верёвку — и она поддалась с одного движения.

Она была надпилена.

Не перетёрта о камень: перетёртое волокно мохрится и рвётся неровно. Тут был рез — узкий, чистый, поперёк пряди, доведённый до половины и брошенный.

Я посмотрел на его правую руку.

В кулаке, между пальцами, была зажата чёрная пластина. Длиной с палец, тонкая, с острой кромкой. Он держал её так, как держат единственную вещь, и разжать кулак у него не хватило то ли сил, то ли соображения.

Он пилил. Придавленный доской, в шоке, с открытым переломом, он решил, что доску держит верёвка, и если верёвку перерезать, доска уйдёт.

Он ошибался: доска лежала на нём просто потому, что весила сколько весила.

Но он пилил, пока не потерял сознание.

Я разжал ему кулак — палец за пальцем — и вынул пластину, и на этом порезался, потому что она была острая, как то, чем режут людей на операционном столе. Положил на камень рядом: потом посмотрю.

Тряпку отрезал наполовину, сложил вчетверо, вдавил в рану пелотом и придавил. Поверх — ту самую верёвку в два оборота вокруг бедра, узел сбоку, палку в петлю и провернуть на пол-оборота.

Давящая, не жгут. Жгут ему сейчас убил бы ногу вернее, чем кровь.

Тёмное перестало выступать.

— Молодец, — сказал я вслух. Голос вышел чужой и скрипучий. — Слышишь? Ты молодец. Ты двадцать метров прополз со сломанной ногой. Ты вообще герой, малый. Лежи.

Он меня, конечно, не слышал. Мне было надо.

Теперь доска.

Поднимать нельзя. Поднять — значит потянуть вверх и в сторону, и обломки кости пойдут гулять внутри, а он и так на грани. Я обошёл, лёг на живот, посмотрел, как она стоит.

Всем весом она не давила. Упиралась одним концом в глыбу, а серединой лежала на голени. Значит, не поднимать. Значит, повернуть вокруг точки опоры, снять нагрузку вбок и уже потом вынимать ногу.

Я подвёл под дальний край плоский камень. Сверху ещё один. Взялся, выдохнул и повёл её от себя — медленно, миллиметрами, глядя не на доску, а на ступню.

Ступня шевельнулась. Мальчишка закричал.

Крик был короткий, сорванный, почти без голоса — у него и на крик не осталось сил. Но он открыл глаза.

Глаза оказались чёрные, огромные и совершенно осмысленные. Он смотрел на меня в упор, и в них не было ни благодарности, ни надежды, ни облегчения — ничего из того, за чем люди идут в спасатели.

Там был чистый животный ужас, и направлен он был на моё лицо.

Я знаю, как выгляжу: метр восемьдесят три, восемьдесят восемь килограммов, обгорелая до багрового рожа, голый, с ножом, с чужой кровью по локоть, на четвереньках над ребёнком. Я всё понимаю. И всё равно внутри что-то повернулось.

— Тихо, — сказал я и убрал руки, показав пустые ладони. — Тихо. Свои. Я тебя не трону.

Голень была сломана открыто: белое в мясе, ниже колена, ступня вывернута наружу.

Кость я не трогал. Открытый перелом на берегу не вправляют — прикрывают и обездвиживают. Оторвал от тряпки ещё полосу, накрыл рану, наложил шину: две щепы от доски по бокам, между ними и кожей — свёрнутый лоскут, и три оборота верёвки выше и ниже перелома. Верёвки едва хватило.

Затянул так, чтобы держало, но не пережимало.

Он больше не кричал. Просто дышал и смотрел на меня.

Я взял его под лопатки и под колени и перенёс на пять метров, в настоящую тень под обрывом, где камень был холодный.

Он ничего не весил.

Тринадцать лет, и он ничего не весил. Я нёс его пять метров и думал только об этом.

Потом сел рядом, потому что перед глазами поплыло.

И вот тогда меня накрыло.

Чёрная вода. Не синяя — чёрная, густая. Холод под костюмом такой, что уже не холод, а тупая деревянная боль в кистях, и ты знаешь: пальцы работают, но чувствовать их ты перестал минут пять назад. Металл справа. Металл слева. Ржавая переборка в сантиметре от стекла. И кто-то рядом — я вижу его свет, отражённый от железа, и слышу дыхание в связи, и знаю, что это...

Кто.

Я не мог вспомнить.

Тёплая вода. Двадцать три градуса, сорок метров, ночь, никакого холода вообще. И точно так же кто-то рядом, тычет пальцем вниз и что-то говорит в связь. И точно так же я не могу вспомнить кто.

Два кадра на одной плёнке. Наложились и не разлеплялись.

Я знал обоих. Я мог бы про каждого сказать, как он держит руку на клапане, как смеётся, что у него с зубами и что он ел перед выходом.

И не мог вспомнить, кого из них я только что звал с обрыва.

Я могу забыть день рождения матери, потерять паспорт, не вспомнить имя женщины, с которой прожил год. Но напарника помнят всегда. Через двадцать лет не вспомнишь, какая была задача, — а как он поворачивался к тебе в воде, вспомнишь.

А я не мог.

И в ту же секунду, из той же мути, поднялось ещё два кадра, и вот они были хуже всего, потому что не накладывались ни на что.

Свет. Ровный, холодный, без источника. Не мигающий, не импульсный, не отражённый — так не светит биолюминесценция, так не светит фонарь, так вообще ничего не светит на сорока метрах в час ночи. Он шёл из щели в скале.

И компас.

Компас у меня на левом запястье крутился. Ровно, оборот за оборотом, как секундная стрелка, и я помню, что успел подумать совершенно спокойно, по-рабочему: надо запомнить и записать наверху.

Дальше было не как в кино. В кино люди хватаются за голову и кричат.

Я просто перестал попадать воздухом в лёгкие. Грудная клетка ходила, а толку не было, и я успел подумать совершенно отстранённо: гипервентиляция, сейчас потеряю сознание, и никто меня не поднимет.

Я лёг лицом в гальку. Камни жгли скулу, пахло сушёными водорослями и почему-то дыней. Я лежал и делал единственное, что умел: четыре счёта вдох, четыре задержка, шесть выдох.

Этому учат не для паники, а чтобы перед задержкой дыхания не разогнать себя до обморока. Если начал частить — остановись и восстанови ритм, потому что дальше решаешь уже не ты.

Двенадцать циклов. На восьмом отпустило горло. На двенадцатом я смог сесть.

Я сидел, обхватив колени, как школьник на физкультуре, и меня всё ещё потряхивало. И сказал вслух, ровно, потому что вслух получается ровнее, чем в голове:

— Так. Ты жив. Ты цел. У тебя есть нож и голова. Встал и пошёл искать воду.

Помогло на удивление хорошо.

Уже вставая, поймал себя на паскудной мыслишке: как я буду это рассказывать. Марку, ребятам, сестре. Как лежал голый на пляже и выл. Смешно ведь выйдет.

И тут же, следом, второй мыслью, холодной и ясной:

А кому.

Эту мысль я поймал за хвост и придушил. За ней шло остальное: мать в Пскове, которой позвонят через сколько-то суток. Сестра. Страховая. Формулировка «пропал без вести при выполнении подводных работ».

Всё это подождёт. Всё это я разрешил себе на потом.

Ладно. Кессонная болезнь, неврологическая форма: я всплывал без режима, я не помню как, но явно без режима. Свет — гипоксическая галлюцинация. Компас крутился потому, что я его к тому моменту уже разбил. Меня протащило течением и выкинуло, и я двенадцать часов пролежал на солнце, и сейчас у меня обезвоживание, ожог второй степени и неврология. В таком состоянии человек видит и не такое.

Ровная версия, полная, всё объясняет. Я вцепился в неё, как в поручень.

Кроме неба. Но небо я решил пока не трогать.

Жажда к этому моменту стала уже не ощущением, а характером. Она думала за меня и разворачивала мне голову к морю каждые двадцать секунд.

Море было прямо тут. Сорок шагов. Синее, прохладное, бесконечное.

Я ровно знал, что будет, если сделать три глотка: осмотическая нагрузка вытянет из меня больше воды, чем я приму, через час рвота, и дальше по нисходящей и быстро.

Я всё это знал — и минуты полторы всерьёз обсуждал сам с собой, не сделать ли три глотка.

Вот это, если честно, напугало меня сильнее пустого неба. Небо было снаружи. Это уже внутри.

И тут до меня дошло ещё одно. Двенадцать лет я служил там, где вода зимой плюс два, а летом плюс восемь, и вся моя подготовка была заточена под одно: не потерять тепло. Как не потерять тепло, я мог рассказать разбуженный среди ночи. Как не потерять воду — не знал почти ничего.

Ровно половина меня была здесь бесполезна. Причём та половина, которая касалась главного.

В воду я всё-таки зашёл. По грудь, ненадолго — сбить температуру с обожжённой спины, иначе к вечеру начнётся отёк и я слягу.

Я подошёл к доске — отломать ещё щепу, потому что шина мне не нравилась, — и остановился.

Это был не борт лодки. Точнее — не просто борт.

Планширь. Верхний брус, тот, что идёт по краю. И в нём сидела уключина — вырезанная из цельного куска дерева, грубая, кривоватая, с гладко вытертым до блеска гнездом. Такой формы я не видел никогда: ни на одной лодке, ни в одном музее, а по музеям меня жена в своё время таскала изрядно.

Я провёл по гнезду пальцем. Дерево внутри было отполировано до воска. Так вытирается только весло. И только за годы.

Дальше пошло само, помимо меня.

Дерево сухое в глубине, серое, с вымытыми волокнами, и рыжая корка обрастания только по одной кромке. Эта штука плавала не вчера. Она плавала месяцы.

Значит, её принесло не тем штормом, который выкинул сюда мальчишку. Она пришла отдельно и раньше и просто лежала в накате, пока волна не швырнула её ему на ногу.

С внутренней стороны, у самой уключины, — вмятина. Не трещина от удара о камень: камень бьёт с раскрошенной кромкой, я это видел сто раз. Тут продавили чем-то тяжёлым и тупым, изнутри наружу, одним ударом.

И верёвка.

Та самая, которая сейчас держала шину у мальчишки на ноге. Толстая, трёхпрядная. Растительное волокно, скрученное вручную: неровно, с утолщениями, с торчащими волосками, ломкое от соли. Не капрон, не полипропилен, не сизаль — сизаль ровнее.

Я потом к этому вернусь, и мне очень не понравится то, к чему я вернусь.

Я стоял над обломком дольше, чем стоило.

Мальчишка, лодка, шторм — это была история. Обычная, скучная, объяснимая, с врачом в конце. А планширь с самодельной уключиной, месяцами плававший, пробитый изнутри одним ударом и перевязанный вручную скрученным шнуром, был из другой истории. Из той, где где-то рядом ходят большие лодки. Где одну такую уже разбило. И где её разбило раньше и не этим штормом.

Я вернулся к камню и взял пластину.

Чёрная, тонкая, длиной с палец, полупрозрачная на просвет по краю. Одна сторона гладкая, с раковистой волной, другая — в узких продольных гранях, и грани шли ровно, одна к одной, от края до края, будто их отмеряли линейкой.

Обсидиан. Вулканическое стекло, режет как скальпель; как из него делают такие штуки, я не знал и знать не мог.

Но что это не природа, было видно с одного взгляда. Природа не выдаёт ровных параллельных граней. Это кто-то снял — аккуратно, с одного куска, по счёту, как работает человек, который делал это тысячу раз и сегодня сделает ещё сто.

И ни следа окатки.

Я держал её на ладони и очень медленно поворачивал, ловя солнце.

И вот в этот момент — не когда небо, не когда тишина, не когда верёвка, — вот именно в этот момент внутри у меня что-то тихо и окончательно съехало со своего места.

Потому что версия про кессонку и неврологию всё ещё объясняла свет, компас, тошноту и двенадцать потерянных часов. Она объясняла даже память.

Она не объясняла предмет, который я держал в руке.

Галлюцинация не режет палец. Я посмотрел на палец. Палец был порезан.

— Ну и хорошо, — сказал я громко, в пустоту, и услышал в собственном голосе то, чего слышать не хотел. — Ну и отлично. Значит, разберёмся.

Мальчишка снова смотрел на меня. Он не спал — следил глазами, и когда я подошёл, дёрнулся отползти, упёрся шиной в камень и замер, зажмурившись.

Я остановился в двух шагах и присел на корточки, чтобы не нависать. Положил пластину на песок между нами.

— Твоё?

Он открыл один глаз. Перевёл взгляд на пластину. Потом на меня. И вдруг заговорил.

Быстро, глотая слоги, отчаянно, длинными фразами — и в них была не просьба. Он мне объяснял. Он даже приподнялся на локте, чего ему делать было категорически нельзя, и дважды повторил одно и то же слово, ткнув пальцем в сторону моря.

Я слушал изо всех сил и не понял ничего. Ни корня, ни имени, ни числа. Так не звучит греческий. Так не звучит турецкий, албанский, арабский, иврит. Так не звучит ни один язык, который я слышал вживую, в кино или в аэропорту.

— Не понимаю, — сказал я. — Прости. Я тебя не понимаю.

Он замолчал. Посмотрел на меня ещё секунду — проверяя, точно ли, не притворяюсь ли.

И заплакал. Беззвучно, одними плечами, зажмурившись, как плачут от полного бессилия, когда сказал единственное, что мог сказать, и это не помогло.

Я сидел напротив и не знал, куда себя деть.

Двенадцать лет я вытаскивал людей — из воды, из железа, из-под груза — и знаю, что им говорить и каким голосом, и у меня это получалось лучше, чем у многих, не потому, что я хороший, а потому, что этому тоже учат.

А тут я сидел перед тринадцатилетним пацаном, которому только что собрал ногу, и не мог сказать ему ни одного слова, которое бы до него дошло. Ни «сейчас будет легче». Ни «тебя ищут». Ни «я тебя не брошу».

Ничего вообще.

Я протянул руку и положил ему ладонь на грудину. Не гладил, не хлопал по плечу. Просто держал, чтобы он чувствовал вес.

Он дёрнулся и затих.

— Ничего, — сказал я. По-русски, зная, что он не поймёт. Мне это было надо не меньше, чем ему. — Ничего. Живой. Кость срастётся, ты молодой. Дальше разберёмся.

Он всхлипнул ещё раз и открыл глаза. Ужаса в них уже не было. Было что-то другое, чему я названия не подобрал.

Мы посидели молча. Странная штука: за всё это утро — за пустое небо, за тишину, за две плёнки, которые я не мог разлепить, — нормально мне стало первый раз именно сейчас, когда я сидел на корточках, держал ладонь на грудной клетке чужого мальчишки, и мы оба молчали, потому что оба ничего не могли.

Я встал и посмотрел вверх по склону, прикидывая, откуда тут может идти вода. По уму — искать зелень: в это время года на таком склоне зелёное пятно означает влагу, и больше ничего оно означать не может.

И понял, что цикады молчат.

Они стрекотали всё утро. Всё время, пока я считал пальцы, называл себя вслух, лез на обрыв за собственной глупостью, орал в пустоту, срезал тряпку и держал ладонь у мальчишки на груди, стоял сплошной звенящий фон, который перестаёшь слышать через минуту.

Сейчас было тихо.

Я успел развернуться на четверть.

Из-за камней вышли люди.

Их было шестеро, и шли они не спеша, разойдясь полукругом. Так расходятся те, кто делал это раньше и не один раз. Тёмные, невысокие, все ниже меня на голову. Босые, в козьих шкурах и тканых повязках на бёдрах. В руках короткие древки с обожжёнными остриями, а у двоих в расщеп на конце вставлено и примотано чёрное лезвие.

Того же цвета, что пластина в песке.

Металла не было ни на ком. Ни клинка, ни пряжки, ни браслета, ни колечка. Я обвёл взглядом шесть человек и не нашёл ни одного блика.

Крайний слева свистнул сквозь зубы, и все шестеро встали.

Я медленно поднял руки, раскрыв ладони.

— Спокойно, — сказал я. — Спокойно, мужики. Ваш парень. Он живой. Я его вытащил.

Голый мужик в крови, с ножом на голени, говорит на непонятном языке над раненым ребёнком.

Я услышал себя со стороны и понял, как это выглядит.

Мальчишка за спиной выдохнул что-то — одно слово, тонко, почти шёпотом.

И шестеро качнулись вперёд.

Того, кто оказался сзади, я не увидел. Услышал — гальку под пяткой слева и позади, оттуда, откуда никого не ждал, потому что там был обрыв, а обрывы я посчитал непроходимыми.

Оценил и посчитал.

Локоть перехватил горло сгибом, коротко и очень грамотно. Меня повело назад, я нашёл ногой опору и уже начал разворачивать таз — и в эту секунду что-то холодное и невероятно острое легло на кожу под челюстью и легко, почти без нажима, пошло вбок.

Тонкая горячая полоса. Кровь пошла сразу. Я замер.

И стоял, очень отчётливо думая: вот, значит, как. Не под водой, не под грузом, не в темноте, где я двадцать лет ждал этого и был готов.

На солнышке. На пляже. Голым. Руки вверх. Тридцать пять лет.

Тот, кто держал, сказал что-то. Ровно, буднично, будто попросил передать соль.

Остальные подошли ближе. Один поднял с песка пластину, повертел, разглядывая, и посмотрел на меня очень внимательно и очень долго.

Я скосил глаза в сторону.

Мальчишка лежал на боку, серый, с шиной на ноге, и смотрел на меня — единственный человек в этом месте, который знал, что я его не трогал.

Наши взгляды встретились.

Он открыл рот.

А в моих глазах потемнело…

Глава 2 "Люди без слов"

Глава 2. Люди без слов

Меня положили на камни аккуратно.

Это первое, что я отметил, и отметил с уважением. Тот, кто держал меня локтем за горло, не стал бить под колено и не стал валить рывком — он подсёк опорную ногу и повёл вниз, придерживая, чтобы я не разбил голову о гальку. Так укладывают человека, когда не собираются его убивать прямо сейчас. Я не сопротивлялся.

Это было решение, а не испуг. Я его принял примерно за полторы секунды, пока лезвие шло по коже под челюстью.

Расклад был такой. Шестеро спереди, минимум один сзади, у троих древки. Я голый, обожжённый, без воды двенадцать часов, с координацией на четвёрку с минусом. Тот, кто держит горло, работает грамотно и, судя по хвату, не первый раз. Даже если я сниму его — а я бы, наверное, снял, — дальше шестеро, и мне некуда бежать, потому что я не знаю ни воды, ни троп, ни того, сколько их всего.

А главное — в двадцати шагах лежал мальчишка с открытым переломом и наложенной мной повязкой, которую я держал полтора часа.

Мёртвый я ему не помогу.

Так что я обмяк, раскрыл ладони и стал очень тяжёлым и очень безобидным.

Меня перевернули на живот. Кто-то сел на поясницу — не всем весом, но убедительно. Руки завели за спину и стянули у запястий верёвкой в два оборота с крестом посередине.

Узел, между прочим, был хороший. Я его почувствовал спиной и опять подумал: с уважением.

Потом меня обыскали.

Обыскивать было нечего, и это, кажется, их слегка озадачило. Прошлись по бокам, по бёдрам — и остановились на левой голени. Ножны.

Кто-то дёрнул застёжку. Не понял. Дёрнул ещё раз. Потом просто сорвал вместе со стропом.

Секунда тишины.

Потом короткий свист сквозь зубы — тот же, что был у крайнего слева, — и все разом заговорили.

Я лежал щекой в гальке и слушал, как за моей спиной семь взрослых мужиков обсуждают нож.

Кто-то вытащил его из ножен, потому что раздался чистый металлический звук, которого тут явно не ждали. Потом короткое шипение и ругательство — очень интернациональное по интонации, ни на одном языке мира не спутаешь. Порезался.

Я усмехнулся, не поднимая головы. Полусеррейтор. Все режутся.

Меня подняли на колени и развернули.

И вот тут я начал работать.

Первое правило: не смотри на оружие. Это противоестественно — глаза сами лезут на ствол или на лезвие, потому что оттуда идёт смерть. И это ошибка, потому что смерть идёт не оттуда.

Однажды на блокпосту в чужом порту я полторы минуты, как дурак, смотрел в ствол — а решал всё мужик, который сидел сбоку на ящике и ничего не держал.

Так что на берегу неизвестного острова, стоя на коленях со связанными руками, я не смотрел на древки.

Я смотрел, чьи жесты копируют.

И ошибся.

Здоровый крикун, лет тридцати, с обгоревшими плечами, орал больше всех, тыкал в мою сторону обломанным древком, и никто ему не возражал. Он стоял ближе всех к мальчишке. Он единственный на меня замахнулся.

Я развернул к нему корпус, опустил взгляд и перестал двигаться — вся процедура, как учили.

Он от этого раздулся вдвое. Заорал громче, обошёл меня кругом и заорал ещё раз, уже для всех, и я секунд десять честно думал, что сейчас договорюсь.

А потом посмотрел, куда смотрит он сам.

Он смотрел на воду.

Там, у самого уреза, чуть в стороне ото всех, сидел на корточках старик. Лет за шестьдесят, сухой, седой, с плоским обветренным лицом. За всё это время он не сказал ни слова и ни разу не поднял головы.

Крикун замахнулся, чтобы меня приложить, — и старик поднял два пальца. Просто поднял, не глядя. Рука с древком остановилась в воздухе.

Значит, ты, дед. А я минуту потратил на громкого.

Я развернулся к нему корпусом, опустил взгляд и перестал двигаться.

Он смотрел на меня очень долго.

И вот тогда я его тоже разглядел: и то, как он держит спину, и обломанные до мяса ногти, и старый шрам через ключицу. И понял, что мне повезло, потому что это лицо было неглупое.

А ещё я разглядел молодого.

Того, что взял меня сзади.

Он стоял чуть позади старика, левее, и единственный из всех на меня не пялился. Он смотрел на мои руки, на мои ноги и на то, как я перенёс вес, когда меня разворачивали. То есть смотрел ровно туда, куда смотрел бы я.

Лет двадцати двух. Невысокий, плотный, плечи как у гребца — а гребцов ни с кем не спутаешь, у них плечи посажены по-своему. И спустился он ко мне с обрыва, который я объявил непроходимым.

Тебя, парень, я запомню.

Я и запомнил. Про себя я его так и назвал — Обрыв.

Их было слишком много для одной мысли, поэтому я раздал позывные по функции.

Старик — Старший. Молодой с обрыва — Обрыв. Здоровый крикун — Ор. Тот, что порезался ножом, — Порез. Двое одинаковых, явно братья, — Первый и Второй. Седьмой, которого я так и не разглядел толком, — Тень.

Через полчаса в голове у тебя уже не «какие-то шестеро местных», а группа с ролями, и видно, кто у кого спрашивает разрешения и кто с кем не разговаривает.

К мальчишке подошли трое.

Я развернулся, насколько позволяла верёвка.

Они присели вокруг него. Кто-то потрогал лоб. Кто-то попробовал приподнять за плечи. Ор сказал что-то громкое и злое, и я увидел, как Порез — с моим ножом, что характерно, — потянулся к шине.

Он собирался её снять.

Естественно, собирался. Я бы тоже. На ноге у своего мальчишки чужой человек намотал непонятную дрянь и стянул чем-то — первое, что делает нормальный человек, это срывает.

— Стой! — заорал я. — Стой! Не трогай!

Меня, разумеется, никто не понял. Меня даже, по-моему, никто не услышал как речь.

Ор развернулся и с удовольствием врезал мне древком поперёк спины.

По ожогу.

Я не буду описывать, что это такое. Скажу только, что я упал лицом в гальку и минуты полторы был не здесь.

Когда я вернулся, шину уже снимали.

Я поднялся на колени. Это заняло время: со связанными за спиной руками поднимаешься перекатом через плечо, а плечо было сожжено.

Не кричи. Крик — это шум. Им не нужен шум, им нужна причина.

Тактическая медицина, второй курс, инструктор — фамилию не назову, но человек был золотой. У него была присказка: «Вы будете работать с людьми, которые вам не верят. Не объясняйте. Показывайте последствие». Показывайте последствие.

Я на коленях доковылял до мальчишки — три шага, меня никто не остановил, только Обрыв шагнул следом. Опустился рядом. Кивком показал на бедро, на повязку, которую они уже наполовину распустили.

И стал ждать.

Секунд через десять из-под скрученной тряпки выступила кровь.

Тёмная. Ровным током. Ползла по коже вниз, и в тени было отлично видно, как она идёт. Все замолчали.

Я подождал ещё немного, чтобы дошло, а потом наклонился и показал головой — затянуть. Головой, потому что руки были за спиной.

Порез посмотрел на Старшего. Старший чуть повёл подбородком.

Порез затянул. Кровь остановилась.

Я подождал и снова кивнул — ослабь.

Он ослабил, уже сам, без разрешения. Кровь пошла.

Затянуть. Остановилась. Ослабить. Пошла. Три раза.

Вот это и есть язык. Никакого словаря не надо. Двадцать секунд — и семь человек, которых от меня отделяли непонятно какие тысячи лет, поняли ровно то, что я хотел сказать: эта штука на его ноге держит в нём кровь, и если её снять, он умрёт. Старший встал.

Подошёл. Присел рядом на корточки, посмотрел на повязку. Потом на шину. Потом на меня.

Потом протянул руку и коснулся моего плеча — там, где кожа была содрана до мяса, — и убрал палец, и посмотрел на кровь на пальце.

Сказал что-то короткое.

И вот здесь произошло первое.

Слово вошло с опозданием.

Сначала я услышал звук. Два слога, чужие, ничего не значащие: ку́ннис. Услышал и ничего не почувствовал.

А потом — примерно через удар сердца — звук внутри меня развернулся.

Не перевёлся. Переводить было нечем и не с чего, у меня в голове нет их словаря и взяться ему неоткуда. Смысл просто пришёл. Отдельно от звука, с задержкой, как эхо, которое возвращается не тем же звуком, а другим.

Чужак.

Куннис. Тот, у кого нет дома. Он сказал это не мне и не про меня — он сказал это остальным, как говорят о найденной вещи, которую надо куда-то деть. Меня повело.

Я стоял на коленях, связанный, обожжённый, обезвоженный, и меня накрыло третий раз за это утро — но не паникой. Хуже. Очень тихим, очень холодным пониманием, что происходящее лезет уже не только вокруг меня, но и внутрь.

Пустое небо было снаружи. Линия прибоя была снаружи. Обсидиан я держал в руке — это была вещь, вещь можно потрогать.

А это было в голове.

Я закрыл глаза и очень медленно посчитал до десяти.

Гуляев мне на это ничего не говорил. У Гуляева на этот случай инструкции не было.

Носилки они сделали сами, и сделали хорошо.

Два древка, между ними — плащ из козьей шкуры, продетый и подвёрнутый. Быстро, без обсуждения, руками, которые делали это не в первый раз. Значит, здесь регулярно кого-то таскают.

Мальчишку переложили вчетвером, и я поймал себя на том, что дёрнулся помочь и чуть не завалился.

Меня подняли на ноги, накинули на шею петлю и повели.

Голого. По раскалённым камням. Босиком.

Ходить босиком по этому камню, как выяснилось, можно. Просто очень больно, и через двести метров ты уже не думаешь ни о чём, кроме следующего шага, а через километр перестаёшь думать и о нём.

Я всё равно работал.

Считал пары шагов — старая привычка, счёт пар, потому что так проще держать в уме: одна пара примерно полтора метра, сто пар — сто пятьдесят.

Считал повороты и брал азимут по солнцу.

Смотрел, куда легли тени, где начинается тропа, где она сходит с камня на землю, где сбита трава.

Восемьсот двадцать пар от берега до седловины, подъём, крутизна градусов двадцать пять, тропа козья, набитая, старая, идёт серпантином — значит, ходят с грузом.

На седловине я поднял голову и увидел остров целиком. И встал.

Меня дёрнули за верёвку, но я успел.

Море было со всех сторон.

Со всех. Слева, справа, впереди за грядой и позади, откуда мы пришли. Клочок земли, два каменных гребня, пологая долина между ними, террасы на южном склоне, полоса зелёного

вдоль распадка. Километров шесть в длину, три в ширину, я прикинул по горизонту. Может, меньше.

Вдалеке на северо-западе из воды поднимался другой остров, большой, с горой. За ним ещё один, маленький, плоский. И всё.

Ни дороги. Ни столба. Ни крыши из железа, ни белого домика с синими ставнями, ни ветряка, ни антенны, ни судна на горизонте.

Я стоял на седловине с петлёй на шее и очень спокойно думал: некуда.

Не «трудно уйти». Некуда. Ты на камне в море, у тебя нет лодки, ты не знаешь ветров, ты не умеешь тут ничего.

Меня дёрнули, и я пошёл дальше.

Поселение я услышал раньше, чем увидел.

Козы. Много коз, где-то близко и внизу. Детский крик. Стук — сухой, размеренный, деревом по камню, кто-то что-то толок.

Потом ударил запах.

Дым — не такой, как от костра на пляже, а густой, жирный, с копотью. Навоз. Кислое молоко. Пот. И поверх всего — сушёная рыба, старая, лежалая, вязкий сладковатый душок, от которого у обезвоженного человека немедленно сводит челюсти.

Мы вышли из-за плеча склона, и я увидел дома.

Их было полсотни, серых, плоскокрыших, налепленных по террасам склона в несколько уровней.

Я шёл с петлёй на шее и смотрел не на людей.

Потому что снаружи это выглядело хаотично, как деревня, а изнутри всё оказалось спланированным.

Дома по внешнему кругу стояли вплотную, задними стенами наружу, и в этих стенах не было ни одного проёма. Ни двери, ни окна. Сплошной каменный обвод по всему периметру, и внутрь ведут два прохода: тот, в который завели нас, и второй, наверху, к которому уходила тропа.

Никто эту стену не строил. Она получилась сама, из того, что дома лепились друг к другу, как соты. Но она была.

«Обвод и двое ворот», — сказал во мне кто-то, кого я не звал. — Двое ворот — это вдвое больше, чем нужно.

Я эту мысль отогнал. Не время.

А потом увидел канавки — и вот тут я по-настоящему остановился, и меня опять дёрнули.

По улицам, вдоль стен, шли жёлобы. Вырубленные в скале, где скала, и сложенные из плиток, где земля, местами перекрытые сверху плоскими сланцевыми пластинами. Они шли с верхнего уровня вниз, ныряли под стены домов, обходили пороги и сливались в один, побольше.

Я стоял и смотрел на это с открытым ртом.

Тут не было ни одного гвоздя. Ни одного куска металла в постройке. Ни колеса, ни печной трубы. А водоотвод — был. Продуманный, с уклоном, с перекрытием, с обходом препятствий. Такое не делается за год и не делается одним человеком.

Собирают воду, — решил я. — Умные. Дождь с крыш в жёлоб, жёлоб в цистерну, цистерна где-то внизу.

Я проследил взглядом главный жёлоб.

Он шёл вниз, к нижнему краю поселения, выходил за обвод и заканчивался открытой канавой, уводящей воду в распадок.

Наружу.

Всю воду. За пределы. В камни.

Люди, которые строят сложную систему, чтобы избавиться от воды, на острове, где — я готов был поставить что угодно — воды не хватает.

Я смотрел на это и не понимал, и меня дёрнули за верёвку раньше, чем я успел додумать до конца.

Двор был утоптан до состояния камня.

Посередине — большая плита с выемкой, у неё на коленях две женщины толкли зерно, и это они стучали. По краям — глиняные сосуды в человеческий рост, вкопанные в землю по плечи. Козы: штук пятнадцать, прямо тут, между людьми, и никого это не смущало. Мухи. Мух было столько, что они садились на глаза.

Дети сбежались первыми — босые, чумазые по колено, с любопытными наглыми мордами. Один, лет пяти, подошёл почти вплотную и потрогал меня пальцем за бедро, проверяя, настоящий ли, и получил от матери подзатыльник.

Взрослые собирались медленнее и молча.

Меня подвели к столбу у стены — вкопанное бревно с зарубкой, гладко вытертое, — и привязали. Не грубо. Обыденно, как привязывают козу. Столб был для этого и предназначен.

Носилки поставили посреди двора.

И тогда через двор побежала девушка.

Она была лет двадцати, худая, тёмная, в тканой рубахе до колен, и бежала так, как бегут, когда уже всё знают, но ещё надеются.

Упала на колени возле носилок. Схватила мальчишку за лицо обеими руками. И закричала.

Я такого крика не слышал давно и не хотел бы слышать больше. В нём не было слов. Он был на одной ноте, долгий, и он длился, пока у неё не кончился воздух.

Потом она вцепилась в мальчишку и начала повторять одно и то же:

— Ниссо. Ниссо. Ниссо.

Так я узнал его имя.

Она гладила его по щекам, по волосам, по груди, и вдруг руки её наткнулись на повязку.

Она замерла.

Я видел, как она смотрит на бедро. Как переводит взгляд на шину. Как трогает пальцем щепу, потом верёвку, потом узел.

Я видел ровно тот момент, когда она поняла: это сделал человек. Кто-то это сделал руками, с умыслом, недавно.

Она подняла голову и стала искать глазами. Нашла.

И вот тут я в первый раз увидел её лицо целиком.

Она смотрела на меня, и я готов был поклясться — если бы у неё в руках оказалось что-нибудь железное, я бы этот день не пережил.

Она поднялась. Медленно. И пошла ко мне через двор.

Толпа расступилась.

Она остановилась в двух шагах и что-то сказала. Тихо. Я не понял, но интонацию понимает даже собака.

Голый связанный мужик у столба. Кровь на нём — не его. Мальчишка, которого принесли с берега умирающим. У этого мужика нашли неизвестный никому нож, которым уже успел порезаться взрослый человек.

Я бы на её месте думал то же самое.

Я стоял и смотрел ей в глаза, и не отводил, и молчал.

Потому что оправдываться, когда тебя не понимают, — это самое бессмысленное занятие на свете. Все интонации оправдания в любом языке звучат одинаково и означают одно: виноват.

Она стояла и ждала.

Я молчал.

Тогда она развернулась, вернулась к брату и стала снова смотреть на шину.

И вот тут случилось то, чего я тогда не понял.

Она размотала верхний оборот верёвки. Не всю — только верхний, чтобы взять в пальцы кусок.

И стала его разглядывать.

Долго. Слишком долго. Крутила между пальцами, растирала волокно, посмотрела на просвет. Понюхала.

Потом обернулась и посмотрела на меня уже совершенно иначе — не с ненавистью, а с чем-то другим, гораздо более неприятным для меня, потому что я не мог его прочесть. Она хотела спросить.

И не могла — по той же причине, по которой я не мог ответить.

Мальчишку осматривала старуха.

Даже не старуха — женщина за пятьдесят, крепкая, с руками прачки и очень недобрым взглядом. Она пришла с полотняным свёртком, разложила его на земле, и я увидел пучки сухой травы, кусок жёлтого жира в раковине, костяную иглу и несколько чёрных пластин.

Знахарка. И, судя по тому, как перед ней расступились, — уважаемая.

Она осмотрела ногу. Потрогала. Понюхала рану — правильно, кстати, понюхала, это грамотно.

Потом положила ладонь мальчишке на грудь, подержала.

И сказала что-то, обращаясь не к девушке, а поверх её головы, к людям.

Второе слово вошло так же, как первое: с задержкой, само.

Мёртвый.

Не «умрёт». Не «плохо». О живом, дышащем мальчишке с прощупываемым пульсом — слово «мёртвый», тем тоном, каким говорят о деле решённом.

По двору прошёл гул. Женщина рядом с девушкой заголосила.

А знахарка потянулась к шине.

И вот тут Порез перехватил её руку.

Не грубо. Он даже не встал — сидел на корточках рядом, поймал её запястье и держал.

Потом сказал два слова и показал: на бедро, на повязку, на свои собственные пальцы, которые полчаса назад трижды затянули и трижды отпустили. Из семерых он был единственный, кто делал это руками, и объяснять ему было нечего.

Двое из тех, кто стоял с ним на берегу, кивнули.

Я выдохнул.

Рано выдохнул.

Потому что знахарка не стала спорить.

Она посмотрела на его пальцы, потом на повязку — и согласилась. Кивнула. Сказала что-то короткое и, судя по интонации, вполне уважительное.

А потом стала объяснять, и объясняла долго, обстоятельно, и по мере того как она говорила, лица во дворе менялись, и Порез отпустил её руку сам.

Я не понял ни слова. Я понял по её рукам.

Она показывала не на ногу. Она показывала на грудь, на рот, на дверной проём дома за спиной — и один раз провела ладонью вверх, от лица к небу, и на этом жесте женщина рядом с девушкой заголосила снова.

Вот тогда до меня и дошло, что я всё это время готовился не к той войне.

Я думал, что передо мной дура, которая не может отличить живого от мёртвого. Я собирался доказывать, что мальчишка дышит.

А она и не спорила, что он дышит.

Она говорила, что его уже нет. Что он ушёл, а тело осталось дышать, и это бывает, и она такое видела, и чем дольше держать на нём путы, тем дольше он не сможет уйти совсем.

Верёвка на бедре и щепа на голени были для неё не лечением. Они были помехой.

Она тянулась к шине не потому, что не понимала, что будет с кровью. Она понимала. Просто считала, что кровь тут уже ни при чём.

Я рванулся так, что столб хрустнул.

— Не смей!

Я орал. Я знал, что это бесполезно, я сам себе это только что объяснил — и всё равно орал, потому что в некоторых ситуациях выключается вообще всё, чему тебя учили.

— Он живой! Живой! Он тут, он никуда не делся!

Меня ударили. Ор, конечно, кто же ещё. На этот раз в живот, и на этот раз я сложился.

Пока я хватал воздух, я успел подумать очень отчётливую вещь.

Ты сейчас умрёшь у столба, а мальчишка умрёт через час. И оба раза потому, что ты не смог объяснить.

Двенадцать лет меня учили доносить информацию до людей, которые не хотят её принимать. Я умел это делать с гражданскими в панике, с союзниками, которые нас презирали, с начальством, которое уже приняло решение. Я умел.

Всё это стоило ровно ничего, потому что у меня отобрали слова.

Значит, работаем без слов. Как на берегу.

Не объясняй. Показывай последствие.

Я перестал орать. Выпрямился, насколько мог, и замер.

Тишина в таких случаях действует сильнее крика. Через несколько секунд на меня опять смотрели.

Я поймал взгляд девушки.

Руки у меня были за спиной. Пальцами я не мог показать ничего.

Поэтому я повернул голову набок и запрокинул её, открыв шею. Медленно, чтобы видели все.

А потом стал кивать.

Коротко, мелко, ровно — в том самом темпе, в каком у меня в ту минуту колотилось в горле. Раз. Раз. Раз. Раз.

Остановился. Посмотрел на неё. Снова открыл шею и снова закивал в том же ритме.

Потом мотнул подбородком в сторону носилок.

Шея. Стук. Он.

Я сделал это четыре раза, и на четвёртый она встала.

Подошла ко мне на два шага — ближе, чем кто-либо подходил за весь день, — и посмотрела мне на горло. Потом подняла руку и приложила два пальца к своей собственной шее.

Я увидел, как у неё дрогнули брови.

Она нашла.

Она вернулась к брату и приложила пальцы ему под челюсть. Двор молчал.

Она сидела так секунд двадцать. Потом подняла лицо, и я увидел, как оно изменилось.

Она сказала одно слово — и знахарка ответила резко, а девушка ответила ещё резче, и вцепилась в руку брата, и не отпустила.

Знахарка отступила.

Старший сказал что-то Обрыву.

Обрыв обошёл столб и распустил узел у меня на запястьях. Верёвку с шеи не снял — перекинул наперёд и примотал к столбу, оставив мне полшага и обе руки.

Объяснять никто ничего не стал. Объяснять было нечего: человек, показавший то, что показал я, полезнее с руками, чем без.

Дальше я работал жестами часа полтора, и это была, наверное, самая тяжёлая физическая работа в моей жизни, хотя я всё это время стоял привязанный к столбу.

Ноги выше головы. Я показывал это раз десять: тыкал подбородком в его ступни, потом задирал собственную ногу, насколько позволяла верёвка, потом опускал голову. Со стороны, полагаю, выглядело как припадок. Но девушка смотрела не на форму, а на смысл, и в конце концов подсунула ему под пятки свёрнутую шкуру.

Тепло. Он холодный на жаре — значит, накрыть. Я тряс плечами, изображая озноб, пока кто-то не догадался.

Пить. Вот это было тяжелее всего, потому что я показывал «пить» и все понимали, что это я хочу пить, и никто не спешил.

Я показал: маленькими. Свёл большой и указательный почти вплотную, ткнул в его губы, помотал головой и свёл пальцы снова.

Понемногу. Часто. Не залпом, иначе вырвет, и он потеряет ещё.

Девушка поняла с четвёртого раза и начала мочить ему губы краем тряпки.

К концу этого часа я взмок, хотя пота у меня давно быть не должно было, и держался на ногах уже плохо.

Но у мальчишки на скулах появился цвет.

И вот в этот момент он открыл глаза.

Обвёл двор мутным взглядом. Нашёл сестру — она наклонилась к нему.

И повернул голову дальше.

Нашёл меня.

Мы посмотрели друг на друга через весь двор, поверх голов, поверх коз, поверх мух, поверх всех этих людей, которые понимали друг друга и не понимали ни одного из нас двоих.

Он что-то сказал сестре. Одно слово, потом ещё несколько.

Она обернулась ко мне.

И это уже был не тот взгляд, что двадцать минут назад.

Он сказал четыре слова. Ничего героического — я разобрал их много дней спустя, и звучали они примерно так: «Он вытащил из-под меня дерево».

Толпа расступилась, и во двор вошёл хозяин.

Я его определил мгновенно и без всякого блокпоста.

Не потому, что он был большой или страшный. Он был сухой, невысокий, лет пятидесяти пяти, с аккуратной короткой бородой и совершенно спокойным лицом. Он вошёл не быстро и не медленно — в том темпе, в котором ходят там, где тебя не станут торопить.

На нём была одежда. Настоящая, тканая, крашеная в тёмное, с подолом. Единственный человек во дворе, чья одежда не была тряпкой.

И на шее у него висела на шнурке штука, из-за которой я про себя назвал его Спиралью: плоский камешек размером с ноготь, с вырезанным узором — спираль, вписанная в крест.

За ним шёл второй, помоложе, с деревянным черпаком на длинной ручке и с плетёной корзиной. Черпак.

Толпа при их появлении не то чтобы испугалась. Она просто перестала быть толпой и стала очередью.

Люди подтянулись к северному краю двора, где под навесом стояли большие сосуды. Не толкаясь. Каждый со своей посудиной. Молча.

Я стоял у столба и смотрел, как раздают воду.

И вот тут я начал слышать слово.

Оно повторялось. Каждый раз, у каждого подходившего, одно и то же — короткое, с двойным свистящим посередине:

— Ама́сса.

Женщина протянула кувшин: «амасса». Мальчишка лет десяти протянул горшок: «амасса». Старуха протянула чашку и сказала это дважды, и ей дважды налили.

Я стоял и складывал, как складывают разведчики.

Звук повторяется. Действие при этом одно и то же: человек протягивает посуду, произносит звук, ему кладут в посуду то, что он просит.

Значит, «амасса» — это «дай».

Я запомнил, довольный собой.

Я ошибался, и ошибался очень крупно, но узнал об этом только на следующий день, а по-настоящему понял, во что вляпался, — недели через три.

Черпак опускал ковш в сосуд, поднимал, сливал в подставленный кувшин. Один раз. Иногда два. Один раз он сделал три, и человек, которому налили три, поклонился в пояс.

После каждого налива Черпак брал из корзины глиняный брусочек размером в спичечный коробок, продырявленный насквозь, и вдавливал в его торец камешек, висевший на шее у Спирали.

Спираль в кресте. Оттиск.

Потом брусочек летел в корзину, и подходил следующий.

Я стоял с открытым ртом второй раз за этот день.

Учёт. Не «дали воды», а записали, что дали. Без письменности, без цифр, без единой закорючки — но с идентификацией: чья печать, тому и счёт.

У них не было колеса. У них не было металла. У них была бухгалтерия.

Очередь шла, и я всё сильнее переставал соображать.

Двенадцать часов без воды на солнце, потом ещё три с половиной. Обгорелая спина. Удар древком по ожогу, удар в живот. Полтора часа жестикуляции. Меня начало заносить в сторону, я упирался в столб плечом и снова выпрямлялся, и мир вокруг стал бархатным по краям.

Я слышал, как черпак стукает о край сосуда. Каждый раз.

Я никогда в жизни не хотел ничего так, как хотел услышать этот звук над собой. Очередь кончилась.

И тогда к сосудам подошёл ещё один — тощий пожилой мужик с пустым кувшином.

Черпак посмотрел на него. Потом на Спираль.

Спираль чуть качнул головой.

Один раз, влево.

Мужик что-то заговорил. Быстро, униженно, показывая на кувшин, на себя, куда-то в сторону домов. Он говорил долго. Он говорил, наверное, полминуты, и с каждой секундой голос у него становился тише.

Спираль слушал. Дослушал до конца. Не перебил ни разу — и это было хуже всего, потому что человек, который тебя перебивает, ещё спорит.

Потом он сказал несколько слов. Спокойно, ровно, не повышая голоса, обращаясь при этом не к мужику, а во двор. Двор молчал.

Мужик постоял, опустил кувшин и пошёл прочь.

Никто на него не смотрел. Вот это я запомнил отдельно: сорок человек во дворе, и ни один не повернул головы ему вслед.

Так себя ведут люди, которые знают, что завтра на его месте может стоять любой.

Потом Спираль повернулся ко мне.

Он подошёл, встал в трёх шагах и рассматривал меня, наверное, с полминуты. Внимательно, без брезгливости, без злобы — как смотрят на прибившееся животное, прикидывая, годится ли на что-нибудь.

Обернулся, сказал слово.

Порез вышел вперёд и подал ему мой нож.

Спираль взял.

И тут я увидел, как у него дрогнуло лицо.

Он был первым и единственным человеком на этом дворе, кто понял, что держит.

Все прочие видели странную блестящую штуку, которая режет. Он повернул клинок, поймал на него солнце, провёл подушечкой большого пальца по обуху — не по лезвию, по обуху, как делает человек, знакомый с ножами, — и на секунду у него в глазах появилось совершенно детское, жадное, живое.

Ровно на секунду. Потом лицо стало прежним.

Он что-то спросил у Старшего. Старший ответил коротко и показал в мою сторону, потом на носилки. Спираль кивнул.

И протянул нож мне.

Рукоятью вперёд.

Двор ахнул. Я услышал, как ахнул, — общий короткий выдох, будто ударили в подушку.

Меня развязали. Руки после трёх часов не слушались, я взял нож двумя ладонями и чуть не выронил.

Он снова сказал что-то. Коротко. Двору, не мне.

Черпак зачерпнул полный ковш и поднёс к моим губам.

Я не буду это описывать. Не получится.

Скажу только, что вода была тёплая, отдавала глиной и была самым лучшим, что я пробовал за тридцать пять лет.

Я выпил один ковш, и ковш убрали.

Я потянулся за вторым — и Черпак отвёл руку.

Посмотрел на Спираль. Спираль качнул головой. Один раз, влево.

Мне дали ровно столько, сколько считалось правильным. Не сколько мне было нужно и не сколько я мог выпить — а сколько было положено человеку в моём положении.

Я стоял с ножом в руках, свободный, посреди двора, и держал во рту последний глоток, растягивая.

А Черпак тем временем достал из корзины глиняный брусочек.

Взял у Спирали печать.

И вдавил. Спираль в кресте.

Он сделал это медленно — медленнее, чем всем остальным, — и держал брусочек так, чтобы всем было видно. Потом положил его не в корзину, а отдельно, на плоский камень у сосудов.

И сказал, глядя на меня, несколько фраз.

Двор слушал очень внимательно.

Я не понял ни слова.

Но я видел, как он показал: на брусочек. На ковш, из которого я пил. На носилки, где лежал перевязанный мальчишка. На корзину, откуда достали еду для его сестры. И снова на брусочек.

Я стоял и смотрел, как этот сухой спокойный человек кладёт на камень мою жизнь, разложенную на позиции. Вода — раз.

Лечение мальчишки — два. За которое, между прочим, платил я.

Еда — три.

Нож, который мне вернули, а не отобрали, — четыре. Никто ничего не отбирал. Мне его дали, при всех, из своих рук, и теперь это была не моя вещь, а его подарок.

Арифметику я понимал. Арифметика была на камне.

Двор начал расходиться.

Девушка сидела возле брата и смотрела на меня через весь двор, и в её взгляде было слишком много всего сразу.

Она поднялась, подошла и, не глядя мне в лицо, сунула в руки свёрнутый кусок ткани — грубой, серой, с обтрёпанным краем.

Развернулась и ушла обратно к брату.

Я стоял голый посреди чужого двора, с ножом в одной руке и тряпкой в другой.

За этот день меня чуть не зарезали, связали, били, приволокли на верёвке и напоили с ложечки, и ни одной секунды со мной не обошлись как с гостем.

Меня приняли. Как принимают приблудную скотину: определили на довольствие, поставили на учёт и записали на кого-то, кто за неё отвечает.

Оставалось выяснить, на кого именно.

Я посмотрел на плоский камень у сосудов, где отдельно от всех лежал мой персональный брусочек с оттиском спирали в кресте.

Он лежал там очень уверенно.

Как будто собирался лежать долго.

Глава 3 "Цена воды"

Глава 3. Цена воды

Ночь я провёл в загоне.

Не в доме — дома мне никто не предложил, да я бы и не пошёл. Меня отвели в угол двора, где под навесом из жердей стояли козы, показали на утоптанную солому и ушли.

Козы отнеслись ко мне спокойнее, чем люди. Одна легла рядом и грела бок всю ночь, за что я ей до сих пор благодарен: к темноте похолодало сильнее, чем я мог представить, — днём под сорок, ночью, наверное, четырнадцать, и голому обожжённому мужику этого хватает с избытком. Я не спал.

Точнее — спал урывками, минут по двадцать, и каждый раз просыпался от одного и того же: от тишины. Двенадцать лет я засыпал под гул. Корабельный гул, гул вентиляции, гул города, гул холодильника в съёмной квартире. Тут не гудело ничего, и мозг каждые двадцать минут поднимал меня проверить, не оглох ли я.

В одну из этих двадцатиминуток мне приснился отбор — четвёртые сутки, ночь, вода, — и я проснулся с той же мыслью, с какой снялся тогда: если ты начал считать не гребки, а минуты до конца, ты уже не работаешь. Я тогда вышел на берег, сказал старшему, что снимаюсь, отработал год на гражданке и вернулся.

Больше я эту тему не трогаю. Здесь она мне ничем помочь не могла.

Так что большую часть ночи я работал.

Лежал на соломе, смотрел в дыры между жердями и слушал.

Полезная, между прочим, штука. Ночью посёлок звучит честнее, чем днём. Днём люди играют роли; ночью они кашляют, ходят до ветру, ругаются с жёнами и таскают то, что не хотят таскать при свете.

К рассвету я знал следующее.

Собак нет. Ни одной, за всю ночь ни единого лая, — а это очень много говорит о месте, где держат скот.

Кто-то дважды ходил вверх по тропе, к источнику. Оба раза двое, оба раза молча.

В доме на верхнем уровне, крупнее прочих, до глубокой ночи горел огонь и разговаривали.

В нижнем ряду ночью плакал ребёнок, и на него никто не вышел.

И ещё: в темноте кто-то приходил смотреть на меня.

Стоял метрах в семи, за углом соседнего дома, минут восемь. Не подходил. Не издавал ни звука. Просто стоял и смотрел.

Я не шевелился и дышал ровно, как спящий.

Когда он ушёл, я по звуку шага понял, кто это был.

Обрыв.

Ну здравствуй, парень. Значит, ты тоже не спишь.

Утро началось с того, что мне на спину плеснули холодным.

Я взвился так, что коза шарахнулась.

Надо мной стояла та самая знахарка, с плошкой в руках, и смотрела на меня с выражением женщины, которой поручили обработать паршивого барана.

В плошке был жир. Жёлтый, мутный, с плавающими в нём кусочками сухой травы, и пахло от него так, что глаза заслезились.

Она мотнула подбородком: повернись. Я повернулся.

Она мазала мне спину минут пять, и это было очень больно и очень хорошо, потому что сожжённая кожа за ночь стянулась, а теперь отпустила. Работала она грубо, но точно: обходила пузыри, не давила, там, где мясо, клала тонко.

Руки у неё были умелые. Знала она, судя по всему, не меньше моего — просто другое.

Я обернулся и попробовал показать: спасибо. Приложил ладонь к груди и кивнул.

Она посмотрела на меня и сказала три слова.

Я их не понял, но интонацию понял прекрасно, и смысл был примерно такой: «Не благодари, мне велели».

Потом плюнула в сторону, забрала плошку и ушла.

Я подумал, что нажил врага. Я не ошибся.

Ниссо был жив.

Я подошёл к дому, где его положили, и стоял в дверях, пока меня не заметили.

Его устроили на первом этаже, у стены, на соломе, накрытой шкурой. Ноги были подняты — под пятками лежал свёрнутый мешок, ровно так, как я вчера показывал полтора часа. Шина держалась. Повязка была свежая: кто-то её перемотал, но, что важно, перемотал так же, с пелотом и тем же натяжением.

Ножны с меня так и не сняли.

Я на секунду прикрыл глаза.

За тридцать пять лет со мной случалось хорошее, но вот это утро — грязный дверной проём, вонь дыма, мухи и мальчишка, у которого не отвалилась нога, — попадает в первую десятку. Это, наверное, много говорит о моей жизни.

Он спал. Дышал ровно. Скулы порозовели. Я взял его за запястье — пульс девяносто, наполнение приличное.

И, считая удары, поймал себя на том, что считаю их мизинцем. Он отошёл за ночь. Не полностью — подушечка ещё была как чужая, — но чувствовал.

За ночь он выкарабкался.

Тисса — я тогда ещё не знал её имени, я звал её про себя Сестра — сидела рядом на корточках и следила за каждым моим движением.

Она не спала вообще, это было видно по лицу.

Я показал ей: хорошо. Поднял большой палец — и тут же сообразил, что этот жест здесь может значить всё что угодно, вплоть до неприличного. Быстро исправился: приложил два пальца к своей шее, потом показал на Ниссо и кивнул.

Она поняла. Кивнула в ответ.

И вот тут между нами что-то щёлкнуло.

Не дружба, боже упаси. Просто мы оба поняли, что у нас есть один общий предмет, о котором мы можем разговаривать без слов, и что за ночь мы оба ни разу не выпустили его из головы.

Знахарка вернулась через час с новой плошкой и с сухими листьями, которые собиралась приложить к ране.

Тисса шагнула вперёд.

Я тоже шагнул, но остановил себя.

Первый порыв был — не дать. Отобрать листья, показать, что грязь в открытую рану совать нельзя.

Второй был профессиональный, и он победил.

Ты не знаешь, что это. Я не ботаник и здешних растений не знаю. Зато знаю другое: люди тут живут не первую тысячу лет, и травы у них работают, потому что те, у кого травы не работали, не оставили потомства.

Я подошёл, присел рядом и протянул руку — можно посмотреть?

Она набычилась, но дала.

Листья были сухие, серебристые, с шершавой изнанкой, и пахли резко и горько. Я растёр один в пальцах и понюхал.

Я понятия не имел, что это. Но я знал, как выглядит и пахнет то, чем испокон веков обрабатывают раны, потому что оно вяжет и убивает заразу, и это было очень похоже.

Тогда я сделал единственное, что мог. Показал: хорошо, клади. Но сначала — и я поднёс листья к плошке с водой и потряс, изображая ополаскивание. Потом провёл ребром ладони: положить сверху, не внутрь.

Класть надо было не в рану, а на рану.

Она смотрела на меня секунды три с выражением, которое я бы описал как «этот баран ещё и учит».

Потом молча ополоснула листья и положила сверху.

К источнику я пошёл сразу, как вышел от Ниссо.

Разрешения я не спрашивал. Я водолаз, и первое, что я делаю в незнакомом месте, — иду смотреть на воду. Меня никто не остановил.

Стало быть, так.

Расщелина в скале, из неё бьёт — не бьёт, а сочится, — струйка толщиной в мизинец. Не поток. Струйка.

Под ней выдолблена чаша, обложенная камнем, и в чаше стоит вода. Из чаши по каменному лотку она уходит вниз, в большой сосуд, и там её черпают.

Двое сидящих на площадке взглянули на меня и отвернулись. Голый чужак, привязанный к их долгу, — не угроза.

Не стража. Никакого оружия, никакой формы, никто не стоит по стойке. Просто двое мужчин, которые сидят тут весь день, что-то делают руками и никуда не уходят. Меняются в середине дня.

Это, если хотите знать, гораздо страшнее стражи. Стражу видно. Стража — это признание, что есть от кого сторожить. А тут просто всегда кто-то есть, и все привыкли, и никто уже не помнит, что когда-то было иначе.

Я стоял, смотрел и считал.

Струйка толщиной в мизинец. Это, грубо, литр в минуту. Шестьдесят литров в час. Полтора куба в сутки.

Двести десять человек.

Семь литров на человека в сутки. В сорокаградусную жару взрослому нужно три-четыре только на попить.

Я пересчитал ещё раз и полез разбираться, где я ошибаюсь, — потому что при таком раскладе тут все давно должны были умереть.

Ошибался я в том, что считал источник единственной водой.

Шкуры и тряпьё полощут в море и потом сушат — соль их не портит, а пресную на это никто не тратит. Горшки трут песком и споласкивают одним черпаком на десять. Козы пьют не здесь: их гоняют вниз, в лощину за обводом, где в галечнике вырыты копанки — ямы по колено, в которых к утру набирается мутная вода, и никого это не смущает, потому что коза не человек. А в питтах у каждого дома с весны стоит запас, и к концу лета он на донце.

Значит, из щели идёт только питьё и варка. Три литра на человека, впритык, и то не круглый год.

Я стоял на площадке над посёлком и очень медленно понимал, что этот остров живёт на грани каждый день своей жизни, и живёт так, судя по вытертому камню лотка, столетиями.

И тут я посмотрел вниз.

Ниже площадки, метрах в двадцати, склон выполаживался, и там был ещё один каменный лоток, куда сливали то, что оставалось в чаше. Там мыли.

Женщина оттирала песком горшок. Рядом другая полоскала тряпьё. Чуть ниже мужик, судя по локтям в крови, только что разделал козу и споласкивал руки и нож — обсидиановый, кстати. Ещё ниже мальчишка лет восьми сидел на корточках и промывал себе разбитое колено.

Всё это стекало дальше вниз одним ручейком, уходило в камни и терялось.

Хорошо. Это, в общем, нормально. Мыть ниже забора — правильно.

Я уже собирался уходить.

А потом посмотрел на площадку у чаши.

Там, вдоль стенки, стояли сосуды. Кувшины, горшки, черепки — штук двадцать, вперемешку. Люди приносили свою посуду, ставили, ждали очереди, потом черпали.

Ставили рядом.

Пустой чистый кувшин, из которого пьют, — и рядом горшок, который только что принесли снизу, от мытья, с налипшей грязью по донцу. И тот, и другой опускали в общую чашу.

А черпак был один.

Один деревянный черпак на всё поселение. Им зачерпывали из чаши и разливали. Его никто не мыл. Он висел на колышке, и его брали руками — теми самыми руками, которыми пять минут назад разделывали козу или подтирали ребёнка.

Я стоял и смотрел на этот черпак, и мне стало по-настоящему холодно, при плюс тридцати.

«Вас убьёт не пуля. Вас убьёт понос. Вода, дерьмо и еда живут в разных местах и никогда не встречаются. Никогда».

Гуляев, второй курс, аудитория, где все хотели скорее в воду, а не слушать про санитарию. Я в том числе.

Тут они встречались все три сразу, в одной точке, при плюс сорока.

Я сел на камень над площадкой и начал считать по-настоящему.

Двести десять человек. Один водоисточник, малодебитный, с открытой чашей. Один общий черпак. Двадцать сосудов разной степени грязности, стоящих в одном месте и опускаемых в одну ёмкость. Забой скота в двадцати метрах. Ополаскивание ран в тридцати.

И жара под сорок.

Это не «риск». Это отложенная эпидемия. Это когда всё уже собрано, шнур протянут, и не хватает только одного человека, который принесёт нужную гадость с рыбой, с чужой лодки, с руками.

Я сидел на камне и очень чётко видел, как это будет выглядеть.

Сделать я мог ровно одно, и я это сделал. Спустился к площадке. Взял палку.

И провёл на земле черту.

Двое сидящих подняли головы.

Я прошёл вдоль стенки, где стояли сосуды, и стал их растаскивать. Чистые — пустые, сухие изнутри — переставил по одну сторону черты, к скале. Те, что были в грязи, снаружи или внутри, — по другую сторону, вниз.

Один из сидящих встал.

Я не обращал внимания. Снял с колышка черпак, посмотрел на него — на потемневшую от жира ручку — и положил его в чашу, отмокать. Потом нашёл среди камней плоский осколок, воткнул рядом с чашей в землю, чтобы черпак клали на него, а не на землю.

Второй тоже встал.

Тот, что помоложе, сказал мне что-то и потянулся забрать палку.

Вот теперь пришлось объяснять.

И объяснять было нечем. У меня в голове было восемь слов, из которых четыре я понимал неправильно. Я не мог сказать «микроорганизмы». Я не мог сказать «фекально-оральный». Я не мог сказать даже «грязь», потому что для них грязь — это то, что видно, а то, что я имел в виду, не видно вообще.

Я мог показать только «где». Не «почему».

А «где» без «почему» — это блажь чужака, который переставляет чужие горшки.

Я стоял с палкой в руках, и меня накрыло такой злостью, какой я не помню давно. Не на них. На себя.

У меня в голове лежало знание, которое спасло бы этим людям жизни, — и оно было заперто там, как в сейфе, ключ от которого утонул вместе с моим костюмом.

И тогда я вспомнил берег.

Не объясняй. Показывай последствие.

Я поставил палку. Поднял руки — тихо, тихо, — и пошёл вниз, к тому месту, где мыли.

Там ещё сидел мальчишка с разбитой коленкой. Я взял с земли горсть золы — золы там было полно, кто-то выгребал очаг — и, глядя ему в глаза, чтоб не испугался, всыпал её в верхний край того ручейка, который стекал от места мытья.

Вода стала серой.

И я показал пальцем: смотрите.

Серая струйка пошла вниз по лотку. Обогнула камень. Дошла до нижнего сборного сосуда, куда, как я успел выяснить, сливали остатки для коз.

Двое поднялись на площадку смотреть.

Собралось человек шесть, потом десять. Дети, конечно, первыми.

Я подождал, пока вода очистится, и сделал ещё раз.

Потом поднялся наверх, к чаше.

И всыпал золу туда, где стояли сосуды — прямо в лужицу, которая натекла под ними от мокрых доньев. Лужица имела уклон.

Уклон был в чашу.

Серая вода дошла до края чаши за четыре секунды и вошла в неё, и все это увидели.

По площадке пронёсся звук, который я не берусь описать. Такой короткий общий выдох.

Женщина, стоявшая ближе всех, наклонилась над чашей и уставилась в неё, и лицо у неё было такое, будто она впервые в жизни увидела эту воду.

Собственно, впервые и увидела.

Продержалось это ровно до тех пор, пока я стоял рядом.

Первым вернулся горшок.

Мужик лет сорока, из нижнего ряда, подошёл, посмотрел на черту, посмотрел на меня — и переставил свою посудину обратно, к скале, туда, где стояли чистые. Демонстративно. Не пряча глаз.

За ним второй. Потом женщина взяла с плоского осколка отмокающий черпак, обтёрла его о подол и повесила на колышек, как он висел последние сто лет.

А Черпак прошёл вдоль стенки и затёр мою черту ногой. Спокойно, не глядя на меня, как затирают на полу чужой мел.

И вот тут случилось самое неприятное.

Никто не возразил.

Те же самые тридцать человек, которые пять минут назад ахали над серой водой, стояли и смотрели, как черту стирают.

Женщина, не подпускавшая никого к чаше, отошла и стала смотреть в сторону.

Мальчишка с разбитой коленкой уже играл камешками.

Я стоял с палкой в руках, и мне очень доходчиво объясняли одну вещь, которую я в тот момент ещё не умел сформулировать.

Я показал им правду. Правду они увидели, и она их даже впечатлила.

Но правда — это не власть. Правда сама по себе не двигает ни одного горшка дольше, чем на четверть часа.

Спираль пришёл через полчаса.

К этому времени на площадке всё вернулось на свои места: горшки стояли вперемешку, черпак висел на колышке, черты не было, и человек десять слонялись вокруг, поглядывая на меня с тем весёлым интересом, с каким смотрят на дурака, который что-то затеял и не довёл.

Он поднялся, встал в стороне и смотрел.

Черпак подскочил к нему и заговорил, показывая на меня, на сосуды, на затёртую полосу в пыли. Говорил долго. Голос был обиженный.

Спираль слушал, не перебивая. Он вообще, как я заметил, никогда не перебивал.

Потом сказал два слова, и Черпак замолчал на полуслове.

Спираль подошёл к чаше. Посмотрел. Обошёл площадку по кругу, глядя под ноги — на уклон, на лужу, на затёртый след от моей черты.

Потом взял с земли горсть золы и сделал ровно то, что делал я. Сам. Не спрашивая и не глядя в мою сторону.

Серая вода дошла до края чаши, и он проследил её глазами до конца.

Он всё понял. Я видел, как он понял: присел, коснулся пальцем земли у сосудов, посмотрел на чашу и чуть кивнул сам себе. Умный, зараза.

Потом выпрямился и заговорил.

Говорил он недолго, ровно, глядя во двор — то есть на людей, а не на меня. Раза три показал рукой: сюда, сюда и сюда. Обозначил черту носком.

Черпак взял палку и провёл её заново, там же, где я. Мужик из нижнего ряда, который первым вернул свой горшок, вернул его обратно на грязную сторону, и никто не сказал ему ни слова, и ему самому ничего объяснять не пришлось.

Через четверть часа порядок стоял. Тот же самый, что рассыпался у меня за пять минут.

Мне не потребовался переводчик.

Я стоял в трёх шагах от человека, который при мне, при тридцати свидетелях, спокойно и без малейшего смущения объявлял моё решение своим.

Первые секунд десять я, каюсь, был в бешенстве.

Дело было не в том, что «моё» — мне на авторство наплевать. Дело было в том, что меня при всех вычеркнули.

А потом я на это посмотрел с другой стороны, и бешенство прошло.

А устроено оно было вот как.

Если бы он сказал: «Чужак придумал, делайте, как чужак сказал», — что было бы? Половина не стала бы делать назло. Вторая половина бросила бы через неделю. А через месяц, когда кто-нибудь всё равно бы заболел — а кто-нибудь заболел бы, потому что от одной черты эпидемии не отменяются, — вспомнили бы, что всё началось с чужака.

А он сказал: «Так теперь будет».

И теперь так будет.

Я стоял и очень отчётливо понимал две вещи.

Первая: он не украл идею. Он её оплатил своим именем, а имя тут — единственная валюта, которая работает.

Вторая, и главная: я не смогу здесь ничего сделать в обход него. Ни-че-го. Ни одной мелочи. Хоть камень с тропы убрать.

Я приплыл сюда с мыслью, что мне надо найти воду, еду и крышу.

А выяснилось, что мне надо влезть в чужую власть.

Это было очень неприятное открытие.

Он подошёл ко мне, когда народ разошёлся.

Встал напротив, посмотрел с интересом — уже другим интересом, чем вчера. Вчера он смотрел на приблудную скотину. Сейчас он смотрел на инструмент и прикидывал, к чему приложить.

Сказал несколько слов. Я разобрал только «куннис» — чужак.

Потом протянул раскрытую ладонь и показал глазами вниз, мне на бедро, где под тряпкой был подвязан нож.

И сказал ещё что-то, коротко, с мягкой интонацией.

Мне не нужно было знать язык.

Эту фразу я слышал на пяти языках и в трёх частях света, и звучит она всегда одинаково мягко: «Давай-ка я это подержу. У меня целее будет».

Я не стал делать вид, что не понял. Это, кстати, отдельное искусство — вовремя не изображать дурака.

Я вытащил нож.

По площадке прошло движение. Кто-то из оставшихся отступил на шаг.

Я присел, положил нож на плоский камень между нами — клинком поперёк, чтобы не смотрел ни на кого, — и накрыл его ладонью. Поднял глаза. И качнул головой. Один раз. Влево.

Ровно тем движением, каким он вчера отказал мужику с пустым кувшином.

Тишина стояла секунд пять.

Он это заметил. Я по глазам увидел, что заметил — и жест, и откуда я его взял.

Черпак за его спиной дёрнулся вперёд, но Спираль его остановил, не оборачиваясь: чуть приподнял два пальца.

Потом он улыбнулся.

Первый раз за два дня.

Улыбка была короткая, почти незаметная и совершенно не злая — так улыбается человек, которому за столом сделали неожиданный ход. Он сказал одно слово, повернулся и пошёл вниз.

Я забрал нож.

Руки, к моему стыду, слегка дрожали.

Обрыв стоял у края площадки. Он всё это видел от начала до конца, и когда я обернулся, он на меня смотрел в упор и не отвёл глаза.

После полудня Тисса нашла меня сама.

Она вывела меня во двор, усадила на камень и стала объяснять, как устроен мир, — и делала она это не по доброте. Она делала это потому, что утром чужак при тридцати свидетелях залез руками в амассу, ничего про неё не зная, и в следующий раз мог залезть куда-нибудь, откуда его уже не вынут.

Это заняло час и было, наверное, самым толковым брифингом, который я получал за всю службу.

Она разровняла ладонью пыль. Взяла палочку.

Нарисовала кривую линию сверху вниз — склон. Наверху, у самого края, — щель, и от щели черточками вниз побежала вода.

Ткнула палочкой в щель и сказала:

— Ама́сса.

Я кивнул, довольный: понял, дай.

Она посмотрела на меня внимательно. Потом встала, отошла на два шага, показала рукой в сторону, где за домами лежало море, и сказала совсем другое слово. Короткое, с двумя «л».

Вернулась. Ткнула в щель на рисунке.

— Амасса.

Показала на море. Другое слово. Опять в щель.

— Амасса.

И взяла с земли черепок, зачерпнула из ближайшего кувшина, поднесла к моим губам и, пока я пил, сказала — тихо, специально для меня:

— Амасса.

У меня в голове щёлкнуло и перестроилось.

Не «дай».

Вода. Причём не всякая вода — море вон оно, море называется иначе. Именно эта. Из щели.

Я сидел с черепком в руках и переваривал, и мне стало нехорошо от простой арифметики.

Вчера я слушал, как двадцать человек по очереди подходят к сосудам и произносят это слово. Каждый. Всегда одно и то же. И я решил, что это «дай», — и был неправ по букве и абсолютно прав по сути.

Потому что если у людей слово «вода» произносится в основном тогда, когда её просят, — значит, её просят.

Значит, её не берут.

Значит, её кто-то даёт.

Дальше она рисовала.

Положила у щели крупный плоский камень. Показала на верхние дома. Потом провела пальцем спираль в воздухе — и я узнал знак с камешка на шее у Спирали.

Значит, крупный камень — это он и его род.

Вокруг разложила камешки поменьше. Штук двадцать, кучками. Дома.

И повела палочкой линию от щели к камешкам.

Линия шла через крупный камень.

Она провела её несколько раз, обводя, чтобы дошло. От воды — в большой камень. Из большого камня — во все остальные. Больше ниоткуда.

Потом достала из-за пазухи глиняный брусочек, точно такой же, как вчера швыряли в корзину, и положила рядом с одним из мелких камешков.

Ткнула в брусочек. Ткнула в камешек. Развела руками: должен.

И начала показывать, чем платят: изобразила, как толчёт зерно — тяжело, размашисто, показывая, что долго; показала пальцами рога у висков и потянула на себя; изобразила, как несёт что-то тяжёлое на плече и ставит.

Работа. Коза. Зерно.

Я кивал. Всё это я видел вчера и всё это понимал: монополия на ресурс, натуральный долг, отработка. Называется по-разному от Мурманска до экватора, а устроено одинаково.

Потом она замолчала.

Замолчала надолго, секунд на десять, и это молчание мне не понравилось.

Потом она взяла самый маленький камешек из кучки.

Поставила его рядом с брусочком. И накрыла ладонью.

Я не понял.

Я показал жестом: что? Что это?

Она убрала ладонь. Камешек лежал отдельно от своей кучки, в стороне от всех.

Она посмотрела на него, потом на меня — и не стала объяснять. Я видел, что она подбирает, как показать, и не может, и что дело не в жесте.

А потом она посмотрела мимо меня.

По двору кто-то шёл.

Она смахнула рисунок ладонью — быстро, одним движением, ровняя пыль, — подтянула к себе ступку и начала толочь зерно, и лицо у неё стало пустое и скучное.

Мимо прошёл Черпак. Он посмотрел на нас, на разровненную пыль, на меня. Ничего не сказал и пошёл дальше.

Тисса толкла зерно ещё минут пять после того, как он скрылся.

Я сидел рядом и очень подробно понимал, что мне только что показали.

Речь шла не про систему выдачи воды.

Мне показали, о чём здесь нельзя говорить вслух.

Вторую половину дня я потратил на то, чем занимался бы на моём месте любой из моих. Я гулял.

Медленно, бестолково, останавливаясь поглазеть, трогая всё подряд, — идеальный дурак-чужак, которому нечем себя занять. Меня не гнали. Дети таскались за мной первые полчаса, потом им надоело.

А я работал.

Есть такая задача, скучная и очень старая: вскрыть незнакомый населённый пункт. Не штурмовать, не заминировать — просто понять, как он живёт. Кто главный, где что лежит, куда бегут, если что.

Нас этому учили не по картинкам. Нас клали на двое суток на склон над рыбацким посёлком, давали бинокль, блокнот и напарника, и через двое суток спрашивали.

Я лежал так с Ерёминым в тринадцатом году, если не путаю, на учениях под Печенгой. Двое суток в мокром мху, комары, тридцать метров до тропы. Мы тогда сдали лучшую схему на курсе и оба страшно собой гордились, а посредник посмотрел и сказал: «Дома нарисовали хорошо. А где у них помойка?»

Мы не знали.

С тех пор я всегда ищу помойку. Дома врут, а помойка не врёт никогда: в неё складывают то, что есть на самом деле, и складывают не напоказ.

К вечеру я знал про Саринт больше, чем хотел.

Первым, на кого я наткнулся, был Мастер.

Я наткнулся на него у крайнего дома верхнего ряда, случайно, и потом полчаса не мог уйти.

Старик сидел на пороге, спиной к солнцу, и работал.

Между колен он держал ком, обмотанный кожей, — я не сразу понял, что это камень. Чёрный, размером с кулак, с плоской верхушкой. В правой руке у него была палка с костяным наконечником, упёртая в грудь через кожаную нашлёпку.

Он поставил наконечник на кромку камня. Замер. Навалился грудью.

Щёлк.

И с камня сошла пластина.

Ровно такая, какую я вчера поднял на берегу. Длиной с палец, тонкая, с продольными гранями, острая до бритвы.

Он отложил её, повернул камень на ноготь, поставил наконечник, замер, навалился. Щёлк. Вторая.

Я простоял над ним, пока солнце не сдвинулось на ладонь, и мне не было скучно ни секунды.

Понимаете, я вырос среди инструмента. Я умею работать руками и я знаю, как выглядит человек, который умеет. И вот это было оно — та самая экономность, когда нет ни одного лишнего движения, и ты не можешь разложить работу на этапы, потому что она идёт слитно.

Он снимал по пластине секунд за десять. Все одинаковые. Все годные.

Я присел на корточки в двух шагах.

Он на меня не посмотрел. Работал.

Через какое-то время он взял одну пластину, повертел, чем-то остался недоволен и бросил в кучку слева. Я потянулся, взял её и стал рассматривать.

Он покосился.

Я показал ему пластину, потом провёл пальцем вдоль граней и постучал себя по лбу: как?

Старик посмотрел на меня, потом на камень у себя между колен, и хмыкнул.

Взял ещё одну палку с наконечником, короче своей, и протянул мне. Потом подвинул ко мне мелкий камешек-заготовку. Показал: давай.

Я взял. Упёр. Навалился.

Камешек раскололся пополам с мерзким хрустом.

Старик засмеялся. Он смеялся долго, беззвучно, трясясь всем телом, и в конце вытер глаз.

Потом взял у меня палку, поставил наконечник на нужное место — сдвинув его миллиметра на два, не больше, — и снял пластину.

Я эту разницу в два миллиметра запомнил на всю жизнь, потому что повторить её не смог ни в тот день, ни через сто попыток.

Уходя, я оглянулся. Старик сидел на пороге в одиночестве, и никто к нему не подходил, и в его дворе стояла одна питта. Одна.

Единственный на острове человек, который умеет делать лезвия. Живёт беднее всех.

Я эту заметку тоже подшил.

Дома тут кладут из плоских серых плиток на глину, без раствора, и стены выходят в две ладони с лишним. Крыши плоские: балки, поверх тростник, поверх утоптанная земля, и на них сушится рыба и лежат тыквы. Улиц две, они опоясывают склон и в одном месте расширяются в общий двор.

В один дом я заглянул — дверь была открыта, хозяйки не было.

Внутри темно, низко и тесно: одна комната, метра четыре на три, пол земляной, присыпанный чем-то белым. В дальнем углу очаг, круг из камней, зола, над ним чёрный от копоти потолок. Трубы нет. Совсем. Только квадратная дыра в крыше в стороне от очага, и, судя по балкам, дым уходит в неё далеко не весь. Стены в саже на две трети высоты, вытертые плечами до блеска у самой двери.

Я представил, каково там зимой при закрытом проёме, и мне стало нехорошо.

А прочее было сделано неожиданно толково: две парные ниши в стене вместо полок, каменная скамья у входа, вытертая до седины.

И порог.

Порог был мраморный. Белый, серьёзный кусок мрамора, обтёсанный ровно и уложенный в земляной пол. В доме, где нет ни трубы, ни окна, ни куска металла, — мраморный порог. И рядом, в косяке, мраморная же чашечка с круглой лункой: в неё входит пятка двери и вращается.

Сажа на стенах, дыра в крыше, глиняный пол — и мрамор там, где ходят и где смотрят.

Люди везде одинаковые. Плевать на трубу. Порог должен быть хороший.

Дома делятся на верхние и нижние, и делятся резко.

Верхние — ближе к источнику, крупнее, с двумя уровнями, у некоторых наружная каменная лестница. Крыши крыты плотно. Во дворах — вкопанные питты, много, я насчитал у одного дома девять.

Нижние — у самого обвода. Меньше, ниже, крыши латаные. Питт по одной-две, и стоят они не в земле, а на камнях, что означает, что они не полные.

Между верхом и низом — улица, и это не просто улица. Это граница. За полдня я не увидел ни одного человека из нижнего ряда, который поднялся бы наверх без дела.

У дома Спирали, наверху, есть пристройка без окон. Я прошёл мимо неё два раза, и оба раза дверь была приоткрыта.

Одиннадцать больших сосудов и штук пять поменьше. Общего склада на острове нет — зерно у каждого своё, дома, в питтах, — а тут стоит склад.

И там же, у входа, корзина с глиняными брусочками.

Брусочков было много. Очень много.

Она была за нижним рядом, снаружи обвода, в лощине, и туда сбрасывали всё: золу, кости, черепки, требуху. Мухи стояли облаком.

Лощина уходила вниз и в сторону. В сторону от источника.

Ниже по склону, в стороне, всё правильно — я поставил галочку и пошёл обратно.

Я поставил её зря, и стоила эта галочка дороже всего, что я на этом острове сделал. Но это выяснилось сильно позже.

Ходил я так до темноты, и к вечеру ноги у меня были сбиты в кровь, а на левой лопатке лопнул и сошёл пузырь, и рубаха — та самая тряпка, которую дала Тисса, — прилипла к мясу. Знахаркин жир к тому времени весь скатался. Меня знобило на сорокаградусной жаре, и я про себя отметил, что это температура, и что завтра будет хуже.

Зато к темноте у меня в голове лежал остров.

Уже в темноте я сел на камень над посёлком и стал сводить.

Двести десять человек. Пятьдесят дворов: двадцать два наверху, двадцать восемь внизу. Мужчин рабочего возраста — пятьдесят пять, женщин столько же, детей и подростков семьдесят, стариков тридцать.

Всё правильно. Всё по науке. Именно так и надо оценивать населённый пункт.

Только сорок из этих детей утром бегали за мной по двору, и один потрогал меня пальцем за ногу, проверяя, настоящий ли.

Кричали с крыши.

Я сначала не понял, что кричат: одно слово, длинное, на одной ноте, повторяемое раз за разом. Кричал мальчишка, стоявший на плоской крыше крайнего дома и махавший рукой в сторону моря. Двор снесло.

Я никогда не видел, чтобы посёлок пустел так быстро. Женщины бросали ступки прямо на землю, мужики бежали от загонов, кто-то на ходу поднимал ребёнка и совал соседке.

Все бежали вниз, к бухте. Я побежал со всеми.

И только на середине тропы сообразил, что бегу сам. Что на мне нет верёвки. Что никто не смотрит, куда я делся.

Это было первое, что я получил на этом острове бесплатно. Правда, я тогда этому не обрадовался, потому что уже увидел бухту.

Чёлн входил в бухту боком.

Без гребцов. Он просто шёл на прибой, разворачиваясь под ветром, и волна несла его в берег, и по тому, как он сидел, было ясно: внутри вода.

Мужики зашли по грудь и вытащили его на гальку. Я лез вместе с ними, меня оттёрли плечом, но я протиснулся.

В лодке, на дне, в воде по бортам, лежал парень.

Лет семнадцати. Такой же тёмный и худой, как все тут. Живой — я увидел, как дрогнула грудь.

Едва.

Кожа серая. Губы в белой корке. Обгорел так, что кое-где сошёл слоями.

Я сунулся к нему первым, потому что все остальные растерялись, а я нет — у меня в такие моменты, наоборот, отключается всё лишнее.

Пульс. Есть, частый, слабый.

Обезвоживание крайней степени. Двое суток без воды минимум, скорее трое. Руки.

Я взял его запястье, и рука повернулась, и я увидел.

На обоих запястьях, по кругу, шли полосы. Не ссадины, не потёртости — ровные, глубокие, содранные до мяса кольца, одинаковые справа и слева, с чистой ровной кромкой.

Я держал эту руку и чувствовал, как у меня внутри становится очень тихо.

Такое не бывает случайно. Такое не появляется, когда человека мотает в лодке.

Это след от того, что затянуто и от чего долго и сильно вырывались.

Я потянул с него мокрую рубаху.

На груди, посередине, была метка.

Три косые линии, короткие, параллельные. Не рваные — резаные. Нанесённые аккуратно, одна за другой, с одинаковым нажимом, кем-то, кому не мешали и кто не спешил.

Уже подсохшие. Дня три.

Я сидел на корточках в воде и очень медленно поднимал глаза от этой груди на людей вокруг.

Они молчали. Все.

Двести человек — ну, сколько там сбежалось, полторы сотни, — стояли вокруг лодки и молчали, и на лицах у них не было удивления.

Вот что я увидел в первую очередь. Не страх.

Узнавание.

Тисса пробилась сквозь толпу, посмотрела в лодку и села на гальку.

Просто села, куда стояла, в мокрое.

Она не закричала, как вчера. Она смотрела на этого парня, и губы у неё шевелились, и я разобрал только, что она повторяет два слога. Та-вво. Тавво.

И я понял, что она знает его так же, как знала того, кого вчера принесли на носилках. По лицу понял. Есть разница между тем, как смотрят на беду соседа, и тем, как смотрят на свою, — и разница видна на любом языке.

Женщина рядом обняла её за плечи и сказала кому-то через голову длинную фразу, и в ней — я поймал — было слово, которым вчера звали Ниссо.

Я сложил. Они ушли вдвоём.

Ниссо и этот. Вдвоём, на этом самом чёлне, три или четыре дня назад. Вернулся один мальчишка — на берегу, под чужой доской, со сломанной ногой. И вот теперь второй.

С резаной меткой на груди и стёртыми до мяса запястьями.

А между этими двумя точками — трое суток, в которые кто-то держал семнадцатилетнего пацана связанным, аккуратно нанёс ему на грудь три ровные линии и отпустил. Отпустил.

Вот это было самое поганое.

Его не убили. Его вернули.

Я поднял голову и посмотрел на море, и море было тихое, синее и совершенно пустое до самого горизонта.

Я двенадцать лет читал такие вещи, и мне не нужен был язык, чтобы прочесть эту.

Это не нападение. Это письмо.

Ему влили в рот воды.

Не сразу — сначала смочили губы, потом по глотку, и вот тут я, наверное, впервые за два дня почувствовал что-то похожее на уважение к этим людям: они всё сделали правильно, без моих подсказок. Знали.

Он открыл глаза примерно через минуту.

Обвёл всех. Взгляд не цеплялся ни за что.

Кто-то наклонился и спросил.

Он попробовал ответить и не смог — горло не работало. Ему дали ещё воды. Он глотнул, закашлялся, и его приподняли за плечи.

И тогда он сказал одно слово.

Тихо. Хрипло. Даже не сказал — выдохнул.

И оно вошло ко мне с той же секундной задержкой, что и вчера, и развернулось внутри так же спокойно и буднично, как разворачивались все остальные.

Лодочные.

Всего-навсего.

Не «враги». Не «убийцы». Не «пираты» — я потом полгода искал у них слово, похожее на «пират», и не нашёл, потому что его нет, потому что оно им не нужно.

Люди, которые приходят на лодках.

Я стоял по щиколотку в воде среди полутора сотен человек и в первую секунду даже не понял, почему у меня по хребту пошёл холод от такого пустого слова.

А потом посмотрел на их лица.

Толпа начала пятиться от лодки. Не бежать — пятиться, медленно, всей массой, как отступает вода.

Женщина рядом со мной прижала ладонь ко рту.

Мужик, стоявший по другую сторону чёлна, развернулся и пошёл вверх по тропе, не оглядываясь, и почти сразу перешёл на бег.

А Тисса поднялась с гальки, и я увидел её лицо.

На нём не было ни ужаса, ни горя.

На нём было бешенство.

Глава 4 "След с моря"

Глава 4. След с моря

Тавво положили в доме Тиссы, рядом с Ниссо.

Я узнал об этом утром и сначала не понял, почему обоих сложили вместе, — а потом сообразил и почувствовал себя идиотом. Родня. У них одна родня, и, судя по тому, что за ними обоими ходила одна и та же женщина, родня близкая.

Мать Тиссы я в тот день увидел впервые. Невысокая, сухая, с руками в узлах, лет сорока пяти на вид и, я подозреваю, тридцати с чем-то на самом деле. Она вошла, когда я сидел на пороге, посмотрела сквозь меня, как через пустое место, и занялась мальчишками.

За весь день она не сказала мне ни слова и не встретилась со мной глазами ни разу.

Я не обиделся. Я вообще-то её понимал.

К Тавво меня подпустили не сразу.

Сначала над ним сидела та самая знахарка, чью плошку с жиром я имел глупость прокомментировать. Она обмывала ему лицо, поила по глотку и делала всё правильно, и я стоял в дверях и ничего не трогал, потому что человек, который лезет с советами через сутки после того, как в первый раз открыл рот, — это ровно тот человек, которого перестают слушать навсегда.

Она вышла через час, задела меня плечом в узком проходе и что-то буркнула.

Я разобрал только одно слово. «Куннис».

Ладно. Значит, не забыла.

Тавво спал. Дышал ровно, и это было уже неплохо: вчера у него дыхание было рваное, как у загнанной собаки.

Я сел на корточки и стал смотреть.

Тисса пришла через минуту и села с другой стороны. Не мешала. Она вообще, я заметил, никогда не мешала — просто оказывалась рядом и наблюдала, что я делаю, и через какое-то время начинала делать то же самое.

Я взял его правое запястье и повернул к свету.

Так.

Кольцо. Полное, замкнутое, по всей окружности. Ширина полосы — сантиметра полтора. Кожа содрана до мяса, местами до подкожной клетчатки, края лохматые внутрь.

Я осмотрел левое. То же самое, зеркально, той же ширины.

И вот это «той же ширины» было первым, что мне не понравилось.

Когда человека вяжут наспех, чем попало, следы получаются разные: где-то шире, где-то уже, где-то узел вдавил, где-то соскользнуло. Тут были два одинаковых кольца, ровных, аккуратных, будто их печатали.

Значит, вязали не наспех. Значит, вязали чем-то стандартным и вязали умеючи.

Дальше. Рана лохматится внутрь, к ладони. Это направление рывка: человек тянул руки на себя, вырывался, и снова, и снова, и делал это долго — потому что за пять минут так не сдирают.

Я приподнял его руку выше и посмотрел на предплечья.

Никаких других повреждений. Ни ссадин на локтях, ни синяков, ни следов ударов.

То есть его связали и оставили. Не били. Не тащили по камням.

Просто связали и оставили. И он вырывался, наверное, полдня.

Я положил руку обратно и сидел, глядя в стену, потому что мне нужна была минута.

Есть вещи, к которым не привыкают. Я видел людей после плена, я знаю, как выглядит человек, которого держали. И всегда, всегда самое поганое — не раны. Самое поганое — аккуратность. Когда по следам видно, что тому, кто это делал, никто не мешал, он не спешил и он делал не в первый раз.

Потом я снял с него рубаху и посмотрел на грудь. Три линии.

Косые, параллельные, длиной каждая сантиметров шесть, на грудине, чуть выше солнечного сплетения. Уже подсохшие, с бурой коркой, дня три-четыре.

Я наклонился близко.

Расстояние между ними — одинаковое. Я померил ногтем: между первой и второй, между второй и третьей. Одинаковое.

Глубина одинаковая. Длина одинаковая. Начало и конец каждой на одной линии, как по линейке.

Резали по одной. Это видно по краям: три отдельных входа и три отдельных выхода, а не один протяг с возвратом.

И — резали по неподвижному. Ни одного смещения, ни одного дрожащего края. Человек не дёргался.

Или его держали так, что не мог.

Я сидел над этим пацаном и очень медленно перебирал варианты, как перебирают инструмент.

Наказание? Нет. Наказание делают больно и уродливо, наказание видно издалека. Три ровные царапины на грудине — это не больно и не страшно.

Обряд? Тоже нет. Всё обрядовое, что я видел в жизни, — симметрично или узорчато. Три параллельные палочки не значат для глаза ничего.

Оставалось третье, и оно легло само.

Клеймо.

Так метят скот, так метят рабов, так метят всё, что имеет владельца и может уйти. Аккуратно, без злобы, по неподвижному, потому что владельцу незачем причинять лишнюю боль своей же вещи.

Значит, мальчишку взяли, пометили как чужое и вернули — предъявить.

Я сидел с этой мыслью и был очень собой доволен. Она объясняла всё: и аккуратность, и то, что не били, и то, что отпустили.

Ошибался я в ней целиком.

Я показал Тиссе.

Ткнул пальцем в линии, поднял брови и развёл руками: что это? Потом ткнул ещё раз и обвёл рукой всё вокруг — чьё?

Она поняла с первого раза — она вообще соображала очень быстро, и это было единственное, что мне на этом острове облегчало жизнь.

И тут же покачала головой, и лицо у неё стало закрытое.

И не «нет, ты неправ».

«Не спрашивай».

Я всё-таки спросил. Показал на грудь Тавво, потом на грудь себе, потом обвёл дом, двор, деревню — с вопросом на лице.

У кого ещё такое?

Она встала и вышла.

Тавво пришёл в себя к полудню и заговорил, и я в этот час впервые по-настоящему возненавидел своё положение.

Дом набился людьми. Пришёл Черпак, пришёл кто-то из верхних, пришли соседи. Тавво говорил слабо, с остановками, ему всё время подносили воду. Говорил он долго.

Всё это время я стоял в углу и не понял ни одного слова.

Вот попробуйте представить. В комнате говорят про то, что тебя касается напрямую, — а ты стоишь и слушаешь музыку. Ты видишь, как у людей меняются лица. Видишь, как женщина у стены прижимает ладонь ко рту. Видишь, как Черпак дважды переспрашивает одно и то же и на второй раз оглядывается на дверь.

И ты не знаешь ничего.

Я стоял и делал единственное, что мог: считал.

Тавво трижды показал рукой на юго-восток. Один раз развёл ладони — широко, шире плеч. Два раза загибал пальцы: на одном месте вышло четыре, на другом — то ли два, то ли три, я не разглядел.

Про число «четыре» я запомнил отдельно и записал у себя в голове: четыре лодки.

И тут же, следом, вспомнил, чему меня по этому поводу учили, — только вспомнил лениво, вполуха, как вспоминают то, что к тебе сейчас вроде бы не относится.

«Худшая разведка, товарищи, — это не отсутствие данных. Отсутствие данных вы хотя бы честно доложите. Худшая разведка — это когда вы увидели половину и додумали вторую. Потому что додуманное вы доложите с той же интонацией, что и увиденное. И вам поверят».

Я стоял в углу чужого дома, не зная языка, и записывал в голову число, которого не слышал.

К лодке я пошёл после того, как народ разошёлся.

Чёлн лежал на гальке в бухте, куда его вчера вытащили, и вокруг него слонялись мальчишки, а взрослые старательно ходили мимо.

Это, между прочим, я тоже отметил.

Когда с людьми случается беда, они лезут смотреть. Это нормально, это человеческое. А тут полтораста человек за сутки не подошли к лодке ни разу.

Дело было не в том, что неинтересно. Дело было в том, что не хотят.

Я обошёл её кругом.

Обычный чёлн: долблёный из одного ствола, с нашитыми досками по бортам, метров пять с небольшим. Внутри вода вперемешку с песком, водоросли, дохлая рыбёшка.

Первое. Пробоина.

Была. В правой скуле, выше — я померил ладонью — на две с половиной ладони над тем местом, до которого он сидел в воде, когда его прибило.

Выше ватерлинии.

Мокрая полоса на дереве была видна отлично — тёмная, с налипшей солью, ровная по всему борту. До неё он сидел в воде, когда его прибило. Дыра была на две с половиной ладони выше.

То есть чёлн не тонул. Он держался и мог держаться неделю.

Дыра была ровно там, где она видна, и ровно там, где она ни на что не влияет.

Второе. Уключины.

Целые. Обе. Гнёзда вытертые, не тронутые, ни трещины.

А вёсел не было.

Понимаете, в чём штука. Если бы лодку било штормом, весло вырвало бы вместе с уключиной или сломало о неё. Если бы человек упустил весло — второе осталось бы. Тут были целые уключины и ни одного весла. Вёсла сняли.

Третье. Снасть.

На носу был привязан обрывок линя, а на дне лежал ком сети. Я вытащил его, расправил и стал искать край.

Нашёл. Ровный.

Волокна на срезе лежали в одной плоскости. Ни одного вытянутого, ни одного разлохмаченного.

Порванная верёвка выглядит совсем иначе: пряди рвутся не одновременно, край получается косой, лохматый, с торчащими усами. Резаный край — ровный.

Сеть обрезали. Лезвием. Не спеша.

Четвёртое. И вот на четвёртом у меня начали шевелиться волосы.

Под кормовой банкой, привязанный, лежал бурдюк.

Я его отвязал — узел, кстати, был чужой, я такого узла у местных потом ни разу не видел — и потряс.

В нём была вода.

Полным он не был — от силы на треть.

Я вылил немного на ладонь и понюхал. Обычная вода, чуть затхлая.

И тогда я сел на борт и стал считать вслух, по-русски, потому что мне надо было слышать слова.

— Значит, так, — сказал я. — Бурдюк вмещает литра четыре. Осталось литра полтора. Он пил трое суток, максимум четверо. Полтора литра в сутки при такой жаре — это ровно та норма, при которой человек не умирает, но и ходить не может.

Мальчишки на берегу смотрели на меня с восторгом. Взрослый чужак сидел на лодке и разговаривал сам с собой — зрелище, видимо, было отменное.

— То есть, — сказал я им, — ему оставили воду. Отмеренную.

Один из пацанов важно кивнул.

Дальше я сделал то, чего делать не собирался, но иначе выходило, что я всё это знаю и молчу.

Я собрал людей.

Собрать людей без языка — задача нетривиальная. Я решил её грубо: залез в чёлн и начал громко и ритмично колотить обломком доски по борту.

Через три минуты на берегу было человек тридцать.

Через пять — больше пятидесяти, включая Черпака, включая Старшего, включая Обрыва, который встал поодаль и скрестил руки.

Я вылез, отряхнулся и взял обрывок линя.

Зажал в кулаках и рванул. Линь лопнул; я поднял оба конца над головой — лохматые, косые, с торчащими прядями — обошёл полукруг и дал потрогать первым трём. Один мужик пощупал и хмыкнул: ну да, порвал верёвку, молодец, чего дальше.

Тогда я взял второй кусок и огляделся в поисках, чем резать.

Свой нож вытаскивать не хотел: после вчерашнего это был бы не аргумент, а вызов, и Спираль имел бы полное право прочесть его именно так.

И тут из толпы вышел Мастер.

Старик протолкался вперёд, не глядя ни на кого, достал из-за пояса пластину — свежую, из тех, что снимал вчера, — и молча сунул мне в руку. Потом отступил на шаг и остался стоять рядом.

Я не буду делать вид, что мне это было безразлично.

Я разрезал линь, поднял концы, обошёл тот же полукруг и дал те же трём потрогать. Гладко. Ровно. Как ножом отрезано, потому что ножом и отрезано.

Мужик, который хмыкал, перестал хмыкать.

Потом пошёл по рукам ком сети — я нашёл край и пустил его в толпу, и тридцать человек передавали его друг другу и щупали. Люди, которые всю жизнь чинят сети, поняли это раньше и лучше меня. По толпе пошёл ровный низкий гул.

Дальше — уключины. Я похлопал по целой, развёл руками: пусто. Изобразил, как гребут. Показал на дыру в борту, потом провёл ребром ладони по мокрой полосе на дереве.

Дыра была выше. Все увидели, что выше.

А в конце я поднял бурдюк.

Потряс — слышно было, как плещет. Присел, налил на ладонь и выпил.

И вот тут стало по-настоящему тихо. Потому что даже мальчишки поняли: человека, которого хотят убить, не поят.

Я выпрямился и попытался сказать вывод.

Это заняло у меня немало времени и, полагаю, выглядело чудовищно.

Я показал на море. Потом сложил ладони домиком и показал на посёлок. Потом показал на глаза — двумя пальцами от глаз в сторону моря и обратно.

Они смотрели.

Потом принялся считать на пальцах и тыкать в сторону бухты, где на гальке лежали вытащенные чёлны, и в сторону сарая, где стояла большая лодка.

Они знают, сколько у вас лодок.

Потом ткнул наверх, на тропу к источнику, и изобразил, как пьют.

И где вода, тоже знают.

Тут по толпе прошло движение, и я понял, что дошло.

Потом я послюнил палец и поднял.

Ветер шёл с севера, ровный, как он шёл здесь каждый день с утра до заката. Я показал на него ладонью — направление. Потом резко сжал кулак: кончится.

И развёл руками в сторону моря, показывая: и вот тогда.

Тишина держалась секунды три.

А потом сзади сказали.

Обрыв.

Он произнёс одну фразу — короткую, из четырёх или пяти слов, — и в ней я разобрал одно: название ветра. То самое слово, которое я слышал уже раз двадцать за три дня, всегда с задранным подбородком и всегда с интонацией «ну а куда деваться».

Он сказал это негромко. Он сказал это, по-моему, вообще не толпе, а сам себе — как человек, который проверил чужую мысль на прочность, и она не сломалась.

Толпа обернулась на него.

Я успел увидеть его лицо в тот момент, когда он это осознал.

Есть такое выражение — очень человеческое, я его тысячу раз видел на совещаниях, — когда человек ляпнул правду, все повернулись, и он в реальном времени пересчитывает, во что она ему обойдётся.

Обрыв пересчитал быстро.

Он пожал плечами и добавил ещё несколько слов, уже громче, уже с другой интонацией — со снисходительной.

Толпа засмеялась. Не зло. С облегчением.

Он не соврал. Я потом узнал, что именно он сказал, и он не соврал ни в одном слове. Он сказал: «Ветер он читает верно». А потом добавил: «Как всякий, кто три дня на острове и других дел не имеет».

Ювелирная работа, между прочим. И правда, и вниз.

Я на него за это не в обиде. Я был старше его на четырнадцать лет и примерно представлял, сколько стоит в двадцать два публично встать против собственного рода.

Спираль пришёл к концу.

Он всегда приходил к концу — я заметил это и позже проверял: он никогда не участвовал в том, что происходит, он приходил, когда уже было понятно, к чему оно свелось.

Он выслушал Черпака. Потом обошёл чёлн — так же, как я, по кругу, — потрогал срез сети, заглянул под кормовую банку. Ничего не пропустил.

Он всё видел. Я стоял в четырёх шагах и смотрел, как он видит.

Потом он повернулся к людям и заговорил.

Говорил недолго, минуты три. Спокойно, ровно, без нажима. Пару раз показал рукой на юг. Один раз развёл ладони. В конце сказал что-то короткое, и человек десять засмеялись. Толпа расходилась.

Я стоял и смотрел, как она расходится, и понимал, что произошло, хотя не понял ни слова.

Тисса объяснила мне вечером, палочкой на земле, и объяснение было простое. Он сказал: с юга ходят чужие рыбаки. Они и раньше ходили. Бывает, что грабят. В прошлый раз — семь лет назад — тоже была лодка, и тоже был человек, и ничего не случилось.

Всё.

Он не спорил ни с одним моим фактом. Он не сказал, что сеть не резали. Он не сказал, что вёсла не сняли. Он вообще не стал разговаривать с фактами.

Он просто дал людям другую историю, в которой все эти факты помещались, — и в этой истории не надо было ничего делать.

И они ему не поверили.

Вот в чём штука. Я смотрел на лица, и там не было веры. Там было разрешение: он разрешил им не думать об этом, вернуться к козам, к сетям, к толчению зерна и не носить в голове то, что три часа назад им показал на пальцах голый чужак.

Так расходятся с собрания жильцов, где управляющий объяснил, что течёт не у него. Никто не поверил, все разошлись, потому что иначе придётся что-то делать.

Разница ровно одна: там протечёт потолок.

Толпа ещё расходилась, когда Спираль повернулся ко мне.

Он мог подождать полминуты. Ему ничего не стоило подождать полминуты, и тогда мы остались бы на гальке вдвоём.

Он не стал ждать.

Он встал напротив — так, чтобы между нами оказался проход, по которому шли люди, — и задал вопрос громко. Громче, чем говорил весь этот час.

Половина уходящих обернулась.

Я не понял слов, но вопрос был короткий, и он сопроводил его жестом: показал на срез сети, на бурдюк, на уключины. Потом развёл руками и ткнул пальцем мне в грудь.

Откуда ты это знаешь?

Он не спрашивал меня. Он спрашивал двор.

И вот тут я встал.

У меня был ответ. У меня был отличный, полный, исчерпывающий ответ.

Меня этому учили двенадцать лет. Меня учили читать берег и лодку, меня учили отличать резаное от рваного, меня заставляли писать разбор по фотографии выброшенного на камни катера, и Гуляев ставил четвёрки за то, что не указан характер обрастания.

Я стоял на берегу под пятьюдесятью взглядами и мог сказать ровно ничего.

У меня было шесть слов. Амасса. Куннис. Мёртвый. Лодочные. Ниссо. Тавво.

Шесть, и два из них — имена.

Я открыл рот и закрыл.

Спираль подождал. Он честно подождал, секунд десять, и это было хуже всего, потому что он не издевался. Он действительно ждал ответа.

Потом чуть приподнял брови, кивнул сам себе и пошёл вверх по тропе.

Ему не пришлось ничего говорить.

Он спросил чужака при всех, откуда тот знает, — и чужак при всех промолчал. Полсотни человек это видели.

Я стоял и понимал, что меня только что аккуратно, за полминуты, разобрали на части: сначала мои факты завернули в другую историю, а потом показали двору, что источник этих фактов не может ответить на простейший вопрос.

Это была не вспыльчивость и не любопытство. Это была работа.

Я стоял на гальке, и у меня тряслись руки от бешенства, и деться с этим было некуда.

Мастер, всё ещё стоявший рядом, посмотрел на меня снизу вверх, поцокал языком и забрал у меня свою пластину.

Потом подумал и сунул обратно.

Ушёл.

Про метку я вспомнил на совете вечером.

Совета в нашем понимании там не было — просто во дворе после захода солнца собрались главы домов, человек восемь, сели на камни у стены и разговаривали. Никто ничего не объявлял, никто не голосовал. Говорили по очереди, потом замолчали, потом разошлись. Как я потом понял, решение у них считается принятым тогда, когда перестают возражать.

Меня не приглашали. Я сидел у своего столба в двадцати шагах и слушал музыку чужой речи.

Старший — тот седой, что командовал на берегу, — говорил вторым и говорил дольше всех.

И в какой-то момент он поднял руку, чтобы показать в сторону моря.

Рубаха у него была из грубой ткани, с широким вырезом, и когда он поднял руку, вырез потянуло вбок и открыло грудь.

На грудине у него были линии.

Старые. Белые. Заплывшие настолько, что видны они были только под косым светом от очага, и я увидел их, наверное, единственный раз за все эти месяцы.

Косые. Параллельные. Одинаковые. Я насчитал четыре.

Он опустил руку, ткань встала на место, и он продолжал говорить, и двое сидевших к нему ближе всех даже не скользнули туда взглядом.

Не потому, что не заметили.

Потому что знали.

И вот тут моя утренняя версия рассыпалась вся, разом, за одну секунду.

Клеймо ставит хозяин. Клеймо носит вещь.

А передо мной сидел глава дома, свободный человек, старший из восьми, тот, кто утром двумя пальцами останавливал занесённое древко, — и на груди у него было то же самое, что у семнадцатилетнего пацана, которого связали и отпустили.

Никто не клеймит старейшину.

И количество не сходилось. У клейма нет количества: клеймо отвечает на вопрос «чей», и на это не надо трёх, и тем более четырёх.

У Тавво — три. У Старшего — четыре. Разные.

Человек во все времена и на всех широтах считает одинаково. Он ставит палочки.

Три палочки — это три.

Это не знак. Это число.

Я сидел у столба в темноте и очень отчётливо понимал: считают не людей. Считают что-то, что у каждого своё, — и об этом здесь не говорят вслух даже те восемь человек, которые сидят у стены и решают за всех.

Я ничего не разгадал в тот вечер. Я просто впервые понял, что тут есть вторая история — старая, тихая и общая, — и что она идёт под первой, как ручей под камнями.

И что мне про неё не расскажут.

А ещё я досчитал одну простую вещь, и от неё мне стало холодно.

Тавво отпустили. Отмерили ему воды ровно столько, чтобы дошёл, сняли вёсла, чтобы не свернул, и пустили по ветру — прямо сюда.

Письмо доставлено. Вчера в полдень.

Ответа ждут не через месяц. Ответа ждут сразу, потому что весь смысл письма в том, чтобы получить ответ, — и тот, кто его послал, сейчас сидит где-то и смотрит на этот берег.

А отвечать на такое ночью удобнее, чем днём.

Я поднялся от столба, не досидев до конца совета, и пошёл на западный мыс.

Никто меня не держал. Верёвки на мне не было со вчерашнего дня, а караулов тут не выставляли — незачем, остров.

Тисса перехватила меня у выхода из двора.

Она стояла в темноте у стены, и я едва не налетел на неё. Молча сунула мне в руки маленький бурдюк и что-то завёрнутое в лист — оказалось, кусок сушёной рыбы и лепёшка.

Я хотел что-то показать. Спасибо, или «я скоро», или «не ходи за мной».

Она отвернулась и ушла раньше.

Я стоял с этой рыбой и думал, что за три дня на этом острове со мной случилось два по-настоящему хороших события, и оба заключались в том, что мне молча дали в руки предмет.

До мыса было часа полтора ходу.

Луна была на три четверти, и это было и хорошо, и плохо: видно тропу, но видно и меня.

Я шёл по всем правилам, потому что тело помнило лучше головы: не по гребню, а под ним; останавливаться каждые двести шагов и слушать; не идти ровным темпом, потому что ровный шаг слышно за полкилометра, а рваный мозг человека фильтрует как «козы».

Считал пары шагов. Считал повороты. Отмечал, где тропа проходит через седловинку, откуда меня будет видно на просвет.

Ночью человек на склоне — не разведчик, а силуэт, и спасает его только то, что силуэтов на склоне много и почти все они камни.

Я был скучным камнем полтора часа.

Мыс Кунда оказался лучшей наблюдательной точкой из всех, что я видел за трое суток.

Высокий, отвесный с трёх сторон, с плоской макушкой метров тридцать в поперечнике. С него открывалось на запад, на север и на юго-запад — то есть на все подходы с открытого моря и от большого острова.

Я лёг на живот у края и долго просто смотрел и слушал.

Море было чёрное с лунной дорожкой. Ни огня, ни паруса — парусов я тут, кстати, не видел вообще ни одного, и это была отдельная тема для размышлений.

Потом я стал осматривать площадку.

Первое, что я нашёл, оказалось ничем.

Два валуна у северной кромки, оба по колено, оба стоят так, что с воды легли бы один за другим. Я обрадовался, лёг, померил глазом, обошёл, посмотрел с трёх точек — и потратил на них полчаса, прежде чем догадался ковырнуть под нижним.

Под ним был не грунт. Под ним была та же плита, что и вокруг, а по кромке валуна шёл лишайник, ровный, старый, нетронутый снизу.

Этот камень не двигали никогда. Он лежал тут дольше, чем на острове живут люди.

Я сел и минуты две ругался вслух по-русски, потому что ровно об этом меня и предупреждали: увидел половину, додумал вторую.

Настоящие я нашёл, когда уже собрался уходить.

Просто зацепился глазом на ходу: под одним из валунов у западного края земля была темнее и плотнее, чем вокруг, и лишайника по нижней кромке не было вовсе.

Он лежал тут недавно. Год, может, два. А до этого лежал в другом месте.

Я присел на корточки и посмотрел вдоль.

И у меня всё внутри опустилось.

С той точки, где я сидел, два камня выстраивались в линию. Один почти у самого края, второй — метрах в двенадцати позади и выше по склону.

Створ.

Господи боже. Это был створ.

Держи два камня в линию — придёшь куда надо.

Я лёг на живот и прополз к самому краю, чтобы посмотреть, куда эта линия смотрит.

Она смотрела не в главную бухту.

Она смотрела левее и ниже, туда, где под обрывами западного берега была узкая тёмная щель — вход, которого с моря не видно, пока не встанешь прямо против него.

Берег для высадки не укрепляют. Его готовят, и это совершенно разные вещи: ищут не укрепления, а два камня, положенных не там, где они лежали.

Кострище я нашёл довольно быстро, потому что теперь знал, что искать.

Оно было за гребешком, в трёх шагах от дальнего створного камня, в ямке.

Не бытовой костёр. Бытовой костёр — это зола, угли, кости, черепки, круг камней, натоптано вокруг.

Тут была ямка размером с таз, выложенная камнями с трёх сторон.

С трёх.

Четвёртая сторона — открытая — смотрела ровно на запад, в море.

То есть огонь, разведённый здесь, был бы виден с воды и не виден ни с посёлка, ни с седловины, ни с тропы. Экран из камней. Направленный источник. Я поворошил.

Углей было мало. Зола лежала тонким слоем и была спрессована дождями — но не до конца: сверху лежал свежий слой, рыхлый, чёрный, с не до конца прогоревшими кусочками.

Жгли много раз. И жгли недавно, недели три назад, может, две.

Я растёр угольки в пальцах и понюхал.

Смола.

Не сухая трава, не помёт, не плавник — то, что горит долго и коптит. Смолистые щепки. Такие берут, когда нужен не жар, а яркий свет за короткое время.

Костёр-сигнал.

Я сидел на корточках над этой ямкой и очень медленно осознавал, что смотрю на объект, который кто-то содержит.

Створ поправлен. Кострище подновлено. Растопка заготовлена — я её нашёл через минуту, в щели под плитой, сухую, накрытую камнем от дождя.

Это не следы нападения.

Это оборудованная позиция, за которой ухаживают.

И ухаживает за ней тот, кто ходит сюда с острова, потому что больше отсюда ходить некому.

Я просидел на мысу ещё час.

Не потому, что чего-то ждал. Мне надо было подумать, а думать я в жизни умел только в двух местах: под водой и на высокой точке ночью. Расклад выходил такой.

Их ждут. Ждут не первый год. Место подготовлено, и оно подготовлено не ими — их с моря сюда приглашают.

Значит, дело не в грабеже. Грабителям не готовят створ.

Значит, здесь есть договорённость, и договорённость старая, и знак с числом на груди — часть её.

Значит, «чужие рыбаки с юга» — это не заблуждение Спирали. Он не ошибается. Он врёт, и врёт сознательно, и делает это спокойно, потому что делал уже много раз.

И значит, у меня, у голого чужака с восемью словами в запасе, есть выбор из двух вариантов.

Первый: не лезть. Отработать долг, научиться языку, прибиться, выжить. Это, к слову, было совершенно разумно, и я это всерьёз рассматривал минут пятнадцать.

Второй: лезть.

Я сидел, смотрел на чёрную воду и честно, по-взрослому взвешивал первый вариант.

Мешало одно.

В том доме внизу лежал пацан со сломанной ногой, которого я вытащил из-под доски. И рядом с ним лежал другой пацан, которому кто-то не спеша, аккуратно, с равным нажимом провёл по груди три линии — и отпустил, чтобы он доплыл и показал.

Я двенадцать лет служил и знаю, чем кончается «не лезть». Оно всегда кончается одинаково и всегда кем-то другим.

Огонь вспыхнул в тридцать восемь минут первого по моим внутренним часам.

Далеко на западе, у самого горизонта, там, где чёрное море сходилось с чёрным небом. Точка света.

Она держалась секунды четыре. Погасла. Через паузу — секунд восемь, я считал — вспыхнула снова, на три счёта. Погасла. Ещё раз, коротко.

И всё.

Я лежал у края и не дышал.

Не звезда — звёзды не мигают так и не сидят на горизонте. Не судно с огнём на борту — огонь на борту качается и не гаснет по счёту.

Это была передача.

Три посылки, разной длины, с паузами. Кто-то в открытом море, километрах в двадцати пяти — тридцати, поднял над водой закрытый огонь и трижды его открыл.

Я лежал и смотрел в темноту, где только что был свет, и меня трясло — не от страха, от чего-то другого, чему я до сих пор не подобрал названия. Наверное, это называется «оказаться правым».

Двенадцать лет назад я бы уже полз к рации.

Рации не было. Не было вообще ничего, кроме меня, лежащего голым животом на холодном камне на краю света.

И тут за моей спиной вспыхнуло.

Я развернулся на локтях так, что ободрал грудь.

Свет шёл с востока. С той стороны, откуда я пришёл. Со стороны посёлка.

Не из посёлка — чуть в стороне и ниже, у верхнего края, там, где тропа от домов уходит к источнику. Небольшой, закрытый со всех сторон, кроме одной.

Открытой на запад.

Четыре счёта. Пауза в восемь. Три.

Ровно так же.

Кто-то стоял в двух километрах за моей спиной, между мной и людьми, у которых я сегодня пил воду, — и отвечал морю.

Я вжался в камень и досмотрел до конца, потому что мне надо было знать, сколько раз он повторит.

Глава 5 "Чужой долг"

Глава 5. Чужой долг

Я вернулся затемно и первые полтора часа работал.

Огонь за спиной погас минут через пять после третьей вспышки. Я не пошёл на него — я на это потратил ровно столько времени, сколько нужно, чтобы понять, что не пойду.

Соображения были такие. До того места около двух километров по каменной тропе в темноте. Пока я дойду, там никого не будет: короткий сигнальный костёр жгут не для того, чтобы сидеть рядом. Единственное, что я получу, — это кострище, которое я и так найду завтра при свете. Единственное, чем рискую, — что меня увидят возвращающимся оттуда.

А человек, которого видели идущим оттуда, откуда шёл сигнал, — это уже не наблюдатель.

Так что я не пошёл. Я обошёл посёлок по широкой дуге, зашёл с противоположной стороны, лёг за загоном и стал ждать рассвета.

Задача была простая и решалась, в теории, за час.

Ночью человек ходил. Ходил далеко, вверх, по камням, разводил огонь. Значит, у него на руках сажа или смола, у него ободрана обувь или ступни, он спал два часа вместо шести, и он вернётся в посёлок с той стороны, с которой обычно не ходит.

Мне нужно было посмотреть на сорок мужиков в первый час после подъёма.

Я лежал за загоном и смотрел.

И через сорок минут понял, что задача не решается вообще.

Они все встали до света. Все.

К тому времени, как небо посерело, в посёлке уже стучали, ходили, гнали коз, тащили сети, и у половины людей ступни были в таком состоянии, что по ним можно было ставить диагноз «прожил здесь жизнь». Руки у всех были грязные. Сажа была у всех, потому что очаг топится каждое утро и дым идёт в комнату. Не спавших было человек десять, из них четверо — женщины с грудными.

Через час наблюдения я имел список подозреваемых из сорока фамилий, которых, вдобавок, не знал.

Городской человек оставляет след, потому что живёт в чистоте и любое отклонение видно. Тут отклонений не было. Тут вся жизнь была отклонением.

Единственное, что я вынес из этих сорока минут, — одну мелочь.

Я не увидел Черпака.

Все были при деле, а распорядителя источника, который каждое утро отпирал площадку, в то утро подменял кто-то другой. Мелочь. Может, заболел. Может, ушёл на террасы.

Я её просто запомнил.

Дальше мне надо было решить главное, и я его, разумеется, решил.

Рассказывать или нет.

Я просидел на камне у загона до полного света и взвесил всё как положено. Выходило, что поднимать шум нельзя: обнаруженный канал ценнее перекрытого. Пока человек считает, что его не видят, он ходит, жжёт, отвечает и оставляет следы. Как только поймёт, что его ищут, ляжет на дно — и ляжет вместе со всем, что за ним стоит.

Правило верное. Его знает каждый в нашем деле и любой опер в райотделе.

Мешало ему ровно одно.

У меня было сорок слов, и тридцать из них — названия горшков.

Я не мог рассказать. Не «не хотел», не «взвесил и решил» — не мог. Фразу «на мысу стоит створ, и кто-то из вас отвечает огнём в море» нельзя изобразить ни жестами, ни палочкой на пыли, ни через тринадцатилетнего пацана со сломанной ногой. Всё, что у меня получилось бы показать, — это огонь, море и выпученные глаза. Так показывает любой сумасшедший.

Так что никакого выбора у меня не было.

А я полтора часа честно сидел на камне и подбирал себе, почему я его сделал.

Это, между прочим, самая распространённая работа человеческой головы, и я всю жизнь был уверен, что она не про меня.

Во что мне обошлось молчание, я понял быстро.

Следующие три недели я смотрел на каждого человека в этом посёлке и думал: ты?

На мужика, который вместе со мной тащил сеть. На женщину, которая давала мне лепёшку. На пацана лет пятнадцати, который таскался за мной хвостом и повторял мои движения. Ты?

Хуже этого в моей жизни было мало что. Служба тем и хороша, что там есть свои и есть чужие, и ты знаешь, кто где. А тут я жил среди ста с лишним человек, ел с ними, работал с ними — и один из них ждал лодки.

Черпак пришёл ко мне после завтрака и объяснил, что я никуда не иду.

Объяснил доходчиво, без языка. Отвёл к восточному проходу — тому, через который меня привели, — и провёл носком сандалии черту поперёк.

Потом показал на меня. Потом на черту. Потом покачал головой.

Один раз, влево.

Он этот жест, похоже, перенял от хозяина, и делал его хуже, с нажимом.

Я показал на себя, потом за черту, потом развёл руками: почему?

Он вытащил из-за пояса глиняный брусочек и потряс им у меня перед носом.

А. Ну да.

Я стоял и очень мирно, доброжелательно улыбался, а сам смотрел на обвод и считал.

Обход по внешней стороне — метров четыреста. Мест, где можно перелезть между домами, минимум три. Верхний проход к источнику вообще никем не закрыт, потому что закрывать его от кого?

Ограда, которая держит только того, кто согласен, чтобы его держали.

Я был согласен, и вот почему.

За чертой лежали камень, козы и море. По эту сторону были люди, у которых язык, вода, лодки и та единственная тропа, что ведёт к щели в скале. Мне нужно было всё это, и нужно было надолго, а чужак, которого приходится ловить, доступа не получает никогда.

Дешевле было соблюдать.

Я кивнул, отступил от черты и пошёл обратно во двор.

Черпак смотрел мне вслед, и я готов поспорить, что он остался очень доволен собой.

К полудню меня перевели из загона в дом.

Это произошло без объявления. Просто Тисса пришла, дёрнула подбородком — иди за мной — и привела в дом.

Дом был крайний в нижнем ряду, маленький, в одну комнату с закутком, с очагом в углу и, естественно, без трубы. Пол земляной. Из мебели — каменная скамья у входа и ниши в стене. В нишах стояли три горшка.

Три. Я вчера видел дом с одиннадцатью.

У стены на соломе лежали мальчишки. Ниссо у окна, Тавво дальше, в темноте.

Мать возилась у очага. Когда мы вошли, она не обернулась.

Тисса показала мне угол у двери — вот твоё место, — потом принесла охапку соломы и бросила туда.

И вот тут началось то, к чему я, честно говоря, оказался не готов.

Я четыре дня был вещью. Меня вязали, вели, привязывали, поили, мазали жиром и ставили на учёт, и всё это было объяснимо и переносимо, потому что вещи не бывает неловко.

А тут мне отвели угол в комнате, где живут четыре человека.

Комнате четыре шага на три.

Я лёг на эту солому и в первые же полчаса пересчитал следующее. Я занимаю восьмую часть жилой площади. Я взрослый мужик весом восемьдесят восемь килограммов, который

ест, а не работает. Я сплю в двух метрах от девушки, у которой нет мужа и нет отца. Я не могу выйти во двор ночью, не разбудив всех троих.

Меня взяли не из милосердия — точнее, не только. Меня взяли потому, что я вытащил Ниссо, а значит, теперь их дом за меня отвечает.

И это, как я выяснил в тот же день, работало ровно в ту сторону, в какую я боялся.

К вечеру Черпак принёс во двор корзину и при мне отдал Тиссе три бирки.

Три.

Она взяла их, не поднимая глаз, и отнесла в дом. И положила в нишу, к горшкам, где, как я потом увидел, лежало ещё несколько.

Я стоял у двери и очень хорошо понимал, что происходит.

Одна и та же лепёшка была записана дважды. Дому — за то, что он взял чужака на прокорм. Чужаку — за то, что дом его прокормил.

Это не двойной счёт по ошибке. Это двойной счёт по устройству: чем дольше я тут живу, тем глубже в долгу оба, и тем меньше у обоих причин меня отпускать.

Меня кормили из их доли. И за то, что меня кормили из их доли, платил тоже их дом.

Всё время, что я прожил под этой крышей, я вставал раньше всех и уходил первым.

Имена мы обменяли в первый же вечер.

Она села напротив, ткнула себя пальцем в грудь и сказала:

— Ти́сса.

Я не сразу понял. Показал на неё и поднял брови: это?

— Тисса, — повторила она и подождала.

Я показал на себя.

— Глеб.

Она попробовала. Вышло что-то вроде «Кеп». Она услышала сама, поморщилась и попробовала ещё раз — вышло «Хилеп».

Я засмеялся. Первый раз за четыре дня.

Потом попробовал фамилию. Она у меня вообще-то тоже не подарок для чужого уха, но я подумал, что там хоть гласных больше:

— Корсаков.

Она честно повторила. Получилось:

— Ку́рса.

И тут в дверях засмеялась девочка.

Лет девяти, чумазая, с торчащими лопатками. Она таскалась за мной по двору весь день, лезла под руку, когда я вбивал жерди, и уже дважды получала от матери, а теперь, оказывается, всё это время сидела на пороге.

Она хохотала в голос — и хохотала не над самим звуком, а над чем-то другим, чего я не понимал.

Тисса на неё шикнула. И улыбнулась сама.

Я переспросил: что? Мелкая замотала головой, зажала рот ладонями и убежала.

Ладно, подумал я. Курса так Курса.

Я тогда ещё был уверен, что через месяц-другой уйду отсюда, и мне было безразлично, как называют меня люди, которых я не собираюсь помнить.

Языку меня учил Ниссо.

Это вышло само. Он лежал у стены со сломанной ногой и не мог встать, а тринадцатилетнему пацану лежать нечем занять голову — и через два дня он взялся за меня.

Началось с того, что он ткнул пальцем в горшок и сказал слово.

Я повторил. Он поморщился и сказал ещё раз, медленнее.

Я повторил. Он засмеялся.

Дальше пошло по нарастающей. Он тыкал во всё, до чего доставал рукой, и называл, и требовал, чтобы я повторял, и совершенно по-хамски ржал над моим произношением. Ржал в голос, до слёз, до кашля, так что Тисса на него ругалась.

А мне было хорошо.

Я, взрослый мужик и, между прочим, старший офицер, лежал на соломе в чужом доме и повторял за мальчишкой названия горшков. Мне было хорошо, потому что впервые за четыре дня у меня появилась задача, которую я мог выполнять.

Я, кстати, работал не как ученик. Я работал как разведчик: не заучивал слова, а искал систему.

К третьему дню я знал, что существительные тут меняются в конце и что окончаний немного. К пятому вычислил, что порядок слов свободный, а значение несёт окончание. К десятому поймал, что у них нет глагола «иметь» — вместо «у меня есть нож» они говорят «нож при мне», и это, как выяснилось, не мелочь: там, где нет слова «иметь», очень удобно устроен долг.

Но главное было не в этом.

Главное было то, что со мной уже происходило четыре дня и чего я никак не мог объяснить. Слова приходили сами.

Не все. Простые. Ниссо говорил, я слышал набор звуков — и через удар сердца звук у меня внутри разворачивался в смысл, без всякого перевода. А сложные, длинные, абстрактные — не разворачивались вообще, сколько бы раз он их ни повторил.

То есть кто-то или что-то дало мне понимание — и дало его с ограничением.

Я про это старался не думать. У меня и без того было чем занять голову.

А Тавво не спал.

Я заметил это на вторую ночь.

Лежу в своём углу у двери, не сплю по обыкновению, слушаю дом. Тисса дышит ровно. Мать дышит ровно и один раз за ночь встаёт. Ниссо во сне разговаривает — короткими сердитыми фразами, будто спорит.

А от дальней стены не идёт вообще ничего.

Человек спящий дышит с задержкой на вдохе. Человек, который лежит с открытыми глазами и хочет, чтобы его считали спящим, дышит слишком ровно. Это очень трудно подделать, и почти никто не умеет, потому что почти никому не приходилось.

Я лежал и слушал, как в четырёх шагах от меня семнадцатилетний пацан второй час подряд аккуратно дышит ровно.

Он ни разу за это время не повернулся.

Утром я на него посмотрел. Он смотрел в потолок теми же глазами, что ночью, и, когда я вошёл, глаза не двинулись.

За всё время, что я прожил в этом доме, Тавво не сказал мне ни одного слова.

Я на него не в обиде. Меня однажды поднимали из воды двое суток спустя, я тогда почти не пострадал, а потом три недели просыпался в четыре утра и садился на кровати, и жена спрашивала, что случилось, а я не мог сказать что.

Разница в том, что меня тогда никто не отпускал специально, чтобы я доплыл и показал.

С третьего дня в доме я начал работать.

Не потому, что меня заставляли. Меня как раз никто не заставлял, и это было невыносимо: я ел их еду и спал на их соломе, и никто не сказал мне ни слова, и от этого хотелось сдохнуть.

Начал я с верёвок.

Верёвка на Саринте — это, как я понял к тому времени, не расходник. Это ценность. Её вьют вручную из растительного волокна, на моток уходят дни, и она гниёт.

И хранили её отвратительно.

Мокрые снасти сваливали в кучу в углу двора. Прямо мокрыми, прямо в кучу, прямо на землю. Снизу они прели, сверху сохли на солнце и трескались, а середина оставалась сырой месяцами.

Я две недели потом смотрел, как люди выбрасывают куски, которые можно было бы не выбрасывать.

Первое, что я сделал, — вбил между двумя домами пару жердей и натянул между ними линь. Повесил на него мокрую сеть. Показал Тиссе: пусть висит.

Она посмотрела на меня как на дурака, но не тронула.

Через два дня сеть была сухая, лёгкая и не воняла.

Через четыре дня на моём линьке висело чужое.

Через две недели такие жерди стояли у шести домов, и это, между прочим, было первое, что я на этом острове сделал и что прижилось без всякого Спирали.

Второе — узлы.

Тут я хочу оговориться, потому что вопрос принципиальный.

Я ничего не изобрёл. Их узлы были не хуже моих: у них были отличные затягивающиеся петли, была шикарная оплётка стыка, была штука для сращивания концов, которую я два месяца учился делать и так и не научился.

Просто набор был другой.

У них не было беседочного. Незатягивающаяся петля, которая держит любую нагрузку и развязывается после неё одним движением, — вещь, которую человечество изобретало много раз в разных местах, и до Саринта она просто не дошла.

Я показал его Тиссе на третий день, когда мы вдвоём поднимали на крышу мешок.

Она завязала его сама с четвёртой попытки. Потом дёрнула. Потом нагрузила всем своим весом. Потом развязала — одним движением, как он и развязывается.

И посмотрела на меня.

Вот тогда она на меня посмотрела в первый раз по-настоящему.

Варду вытаскивали на четвёртый день моего житья в доме.

Варда — их большая лодка. Я к тому моменту её видел только издали, в сарае под навесом у бухты, и, когда её выкатили на галечник, впервые понял, с чем имею дело.

Шестнадцать метров.

Двадцать вёсел. Узкая, как нож, с высоко задранным носом, на котором стояла деревянная рыбина. Долблёное основание, наращённое досками, сшитыми — не сбитыми, гвоздей тут нет — прошитыми через отверстия жилами и просмолёнными.

Я обошёл её три раза и признал, что был идиотом.

Первые дни я про себя называл местные лодки корытами. Вот это корытом не было. Это был очень узкий, очень длинный и очень лёгкий для своих размеров корпус, который двадцать человек разгоняют так, что от него не уйдёшь.

Её надо было поднять от воды метров на двадцать, к сараю, по гальке.

Собралось человек двадцать пять.

И началось то, на что мне было физически больно смотреть.

Они брались за борта, кто где встал. Кричали. Тянули — вразнобой, каждый в свою сторону и в свой момент. Днище шло по крупной гальке, зарываясь. Кто-то надрывался, кто-то не тянул вовсе, потому что при такой толпе не тянуть можно совершенно незаметно, и все это знают.

За четверть часа они сдвинули её метра на три. Двое сели, задыхаясь. Один рассадил ногу.

Я стоял и смотрел, и меня трясло, как трясёт любого нормального человека, который смотрит, как двадцать пять мужиков делают за час то, что делается за десять минут.

Обрыв — он там был за старшего — отошёл, вытер лоб и посмотрел на меня.

Не позвал. Просто посмотрел.

Я счёл это достаточным.

Я не стал ничего объяснять. Объяснять мне было нечем.

Я пошёл в сторону старых террас и притащил четыре обломка жердей — метра по полтора, толщиной в руку. Кинул на гальку.

Потом лёг на живот у носа лодки и стал подкапывать под килем.

Народ смотрел.

Я подсунул первую жердь поперёк, под самый нос. Показал двоим: приподнимите. Они приподняли. Я загнал вторую в трёх шагах. Обрыв понял мгновенно.

Он сказал что-то, и ещё двое побежали за жердями.

Дальше — угол.

Они тянули вверх по склону, вцепившись в борта: каждый наполовину вбок и наполовину вверх, и добрая половина усилия уходила на то, чтобы бороться друг с другом.

Я снял с носа линь и потащил его вверх, к вкопанному столбу, за который вытягивают сети.

Обрыв решил, что я тяну лодку за верёвку, и пошёл за мной помогать.

Я показал: нет. Привязал коренной конец к столбу намертво. Спустился обратно к лодке, обнёс ходовой вокруг носовой перекладины и опять поволок его наверх, к столбу.

Обрыв смотрел на меня уже совсем нехорошо.

Потом я поставил людей на этот конец — не всех, восьмерых, — и показал: тяните.

Восемь человек сдвинули то, чего двадцать пять не сдвинули за четверть часа.

Сильнее они не стали. Просто теперь на лодку шло вдвое больше, чем они тянули: каждый метр верёвки давал полметра хода, и им казалось, что варда стала легче, хотя она стала медленнее.

Половину выигрыша съедало трение о сырое дерево — перекладина скрипела так, что я на всякий случай плеснул на неё воды. Даже с этой потерей выходило лучше, чем как было.

Я расставил остальных: пятерых к бортам направлять нос, четверых на катки, двоих — перекладывать жерди спереди назад. Не тянуть. Только перекладывать. Это оказалось труднее всего объяснить, потому что человек, которому дали лёгкую работу при общей тяжёлой, считает, что его унизили, и лезет тянуть вместе со всеми.

А счёт задал Обрыв, и задал сам.

Мне бы это в голову не пришло: у них есть гребной темп, они с детства ходят на двадцати вёслах, и попадать в общий рывок они умеют лучше меня.

Просто до этой минуты им нечего было делать одновременно. Двадцать пять человек, вцепившихся в борта, не могут рвануть вместе, потому что тянут в разные стороны.

А восемь на одном конце — могут.

Он крикнул два слога, коротко и на выдохе, и восемь человек ответили ему рывком, и варда пошла вверх по каткам ровно и весело, с тем самым тяжёлым скользящим шорохом, от которого у людей, тянущих канат, всегда делаются одинаковые счастливые лица.

Двадцать метров мы прошли за семь минут.

Вот и весь фокус.

Ни одного нового приспособления. Катки они знали. Столб стоял тут сто лет. Верёвка была их, и темп был их.

Я не принёс им силы и не научил их тянуть. Я развернул им усилие: снял его с бортов, куда его прикладывать бессмысленно, и повесил на один конец, где его можно сложить.

Со мной в тот вечер заговорили одиннадцать человек. Я не понял ни одного, и это не имело никакого значения.

Про союзников я вспомнил, когда мы уже волокли последние метры.

Была у нас в две тысячи семнадцатом одна командировка, про которую я рассказывать не буду, а вот один эпизод расскажу.

Нам придали местных. Восемь человек, отличные ребята, храбрые до глупости, и ни один не умел вязать. Вообще. Никак. Швартовный конец у них держался на честном слове и на трёх полуузлах, которые они наворачивали друг на друга, пока не кончалась верёвка.

Ерёмин с ними бился три дня.

Языка он не знал ни одного, кроме русского и матерного, и на четвёртый день сел на палубу, взял конец и стал вязать медленно, молча, глядя старшему из них в глаза.

Развязал. Завязал. Развязал. Завязал.

Восемь раз.

На девятый раз он сунул конец старшему и отвернулся.

Тот завязал.

Ерёмин, не оборачиваясь, поднял большой палец и сказал в пространство:

— Во. А ты говоришь, языковой барьер. Барьер — это когда человеку неинтересно.

Я потом ему сказал, что он гений педагогики.

Он ответил, что просто у него дочь в этом возрасте, и с ней всё то же самое, только она ещё и орёт.

Ей тогда было полтора.

Про свои бирки я узнал на шестой день.

Я поднялся к площадке у источника — просто так, посмотреть, как работает разделение, которое мы завели, — и по дороге прошёл мимо того плоского камня, на который в первый день положили мою. Их было три.

Я стоял и смотрел на три глиняных брусочка со спиралью в кресте и очень хорошо помнил, что четыре дня назад там лежал один.

Один — за воду, лечение, еду и нож. Это я понял и принял.

За что второй и третий?

Я не пил больше положенного. Я не просил еды. Я перебрался в дом, где меня кормят из их доли, а не из общей.

Я стоял и считал, и не сходилось, и, что обиднее всего, спросить было не у кого — то есть спросить-то я мог, но ответ был бы на языке, а на языке я к тому дню знал слов сорок, из которых тридцать — названия предметов.

Тисса вечером показала мне на пальцах.

Один — то, что было.

Второй — за жерди. За те четыре обломка, которые я приволок с террас. Дерево на острове ничьё, пока лежит, и чьё-то, как только его подняли.

Третий — за то, что я живу в доме, который сам должен.

Я сидел на пороге и очень медленно это переваривал.

Никто меня не обманул. Всё было честно и по правилам, и правила были известны всем, кроме меня.

Я работал шесть дней. Я поднял им лодку, повесил им сети и научил их одному узлу.

И задолжал за это время втрое больше, чем в тот день, когда меня притащили голым на верёвке.

Не знаю, как у вас, а мне это было мучительно знакомо. Я так однажды взял двести тысяч на ремонт под нормальный процент, платил год честно, ни разу не просрочил — и через год посмотрел на остаток и увидел двести шестьдесят.

Разница только в том, что там я мог перестать платить и мне звонили бы из банка.

А потом Тисса показала мне остальные бирки.

Она сделала это сама, без просьбы, — я думаю, потому что после варды что-то у неё внутри повернулось.

Достала из ниши мешочек, высыпала на скамью и разложила.

Их было четырнадцать.

Четырнадцать глиняных брусочков со спиралью в кресте, на семью из четырёх человек, трое из которых сейчас не работают.

На выпуске Гуляев обходил строй и каждому говорил по одной фразе. Не общее — каждому своё. Мы потом в поезде до Мурманска пересказывали друг другу, кому что досталось, и половине досталось обидное, а половине непонятное.

Мне он сказал так:

— Корсаков. Вы очень хорошо считаете.

Я приосанился, дурак.

— Следите, чтобы люди у вас не превратились в числа.

И пошёл дальше по строю.

Я двадцать лет считал это похвалой с оговоркой.

Сидя на каменной скамье в чужом доме над четырнадцатью брусочками, разложенными по статьям, я в первый раз подумал, что это, вообще-то, был диагноз.

Я взял один. Повертел.

Оттиск был на торце. А на боку, процарапанные по сырому и обожжённые вместе с глиной, шли значки: две-три чёрточки, крестик, кружок.

Я показал: это что?

Она объяснила долго и на пальцах, и суть свелась к следующему. Печать на торце — чей счёт. Значки на боку — за что. Крестик — вода. Косые чёрточки — зерно. Кружок — лечение.

Понятно. Разнесено по статьям.

Я перебирал их, и почти все были с крестиком, и почти на всех крестик стоял по два-три раза.

Вода. Вода. Вода. Вода.

А потом я взял последнюю, и на ней не было ни крестика, ни чёрточек, ни кружка.

На ней была одна маленькая царапина. Короткая вертикальная чёрточка с двумя косыми внизу.

Похоже на человечка.

Я держал её на ладони и не спрашивал ничего, потому что уже знал.

Я вспомнил, как три дня назад Тисса разровняла пыль, поставила отдельно от кучки самый маленький камешек и накрыла его ладонью. Я поднял глаза.

Тисса смотрела не на меня. Она смотрела в угол, где на соломе спал Ниссо со своей шиной.

Я положил бирку обратно.

— Ниссо? — спросил я.

Первое слово, которое я произнёс на их языке осмысленно и по делу.

Она не ответила.

Она собрала бирки в мешочек, спрятала в нишу и вышла во двор, и я слышал, как она там довольно долго ничего не делает.

Спросил я на следующий день. У Ниссо.

Это было подло, и я это знал, когда делал.

Взрослые тебе не скажут — взрослые уже понимают, чего говорить нельзя. А тринадцатилетний пацан, которому скучно, у которого болит нога и который наконец-то нашёл кого-то глупее себя, расскажет всё.

Я дождался, пока Тисса уйдёт за водой, сел рядом и нарисовал пальцем в пыли на полу человечка. Ту самую чёрточку с двумя косыми внизу.

Ниссо посмотрел.

И ответил — легко, спокойно, как отвечают на вопрос про погоду. Слов двадцать.

Я разобрал три.

«Должен».

«Море».

И третье, которое я к тому дню знал очень хорошо, потому что слышал его на берегу над лодкой: «варди». Лодочные.

Разница в одну букву, и я её сначала не слышал. Варда — это длинная лодка, вещь. Варди — это те, кто на ней приходит. Тут вообще многое так устроено: вещь и человек при вещи отличаются одним звуком на конце, и если ты его не слышишь, то не понимаешь половину из того, что при тебе говорят.

Я показал ему рисунок ещё раз и постучал пальцем по человечку, и поднял брови.

Он объяснил снова, терпеливо, как объясняют иностранцу. Показал на дом. Показал на нишу с мешочком. Развёл ладони — много. Потом показал на себя.

Потом показал на море.

И пожал плечами.

Тринадцать лет. Пожал плечами.

Он не боялся. Он даже не считал, что говорит о чём-то особенном. Так пожимают плечами, когда рассказывают, что в их школе всегда так и что все про это знают.

Дверь скрипнула.

Тисса вошла с кувшином, увидела рисунок на полу, увидела мою руку над ним и увидела лицо брата.

И Ниссо замолчал так резко, будто ему заткнули рот.

Вот это было хуже всего.

Он не боялся говорить. Он боялся, что сестра увидит, как он говорит.

Тисса поставила кувшин, подошла и стёрла рисунок ногой.

Не сказала ни слова ни ему, ни мне.

А я сидел на полу и складывал то, что успел получить, и складывалось оно во что-то очень простое и очень мерзкое.

Есть должники. Есть люди с моря. И между ними есть связь, которая настолько обыденна, что подросток говорит о ней, пожимая плечами.

Про воду я спросил в тот же вечер, потому что мне надо было о чём-то думать, кроме этой бирки.

Меня с первого дня грызла та история с жёлобами.

Я взял палку и нарисовал на земле: посёлок, канавки, стрелки вниз, вода уходит наружу, в лощину. И показал: почему?

Потом нарисовал рядом яму. Ткнул в неё, потом в стрелки: почему не сюда?

Тисса посмотрела на рисунок. Потом на меня. И у неё сделалось то самое закрытое лицо, которое я уже видел, когда спрашивал про метку.

Она отвечала долго, и я разобрал слов пять, и попросил показать.

Она показала.

Взяла палку, ткнула в верх рисунка, где щель.

— Амасса.

Потом провела линию вниз, к морю, и снизу, из земли, повела линию обратно вверх, к щели. И замкнула круг.

Потом ткнула в мою яму. Потом резко чиркнула палкой поперёк линии, идущей снизу вверх.

И развела руками.

Я смотрел на этот рисунок и понимал, что мне только что объяснили.

Вода в источнике приходит снизу. Из-под земли. Из моря, из глубины, из чрева — неважно; главное, что она идёт по пути.

Если этот путь перерезать внизу — копать, тревожить, брать оттуда, — вода наверху уйдёт.

Логично? Абсолютно. Красиво? Очень.

Проверяемо? Ни в одном месте.

Я сидел на корточках над рисунком и уже знал две вещи, которые не мог ни доказать, ни высказать.

Первая: они правы про то, что вода идёт снизу, и не правы почти во всём остальном. Она приходит не из моря. Она приходит из этого же склона, потому что дождь падает на камень, уходит в трещины и выходит там, где встречает плотный слой, и я видел эту щель, и она была ровно там, где такому слою и положено быть.

Вторая, и она была важнее: я не знаю, кто придумал этот запрет, — но знаю, кому он выгоден.

Я показал: кто сказал? Кто это сказал первым?

Тисса подняла глаза и медленно, очень отчётливо, глядя мне прямо в лицо, провела в воздухе спираль.

За мной пришли утром седьмого дня.

Черпак и с ним двое. Не грубо — но и не спрашивая.

Меня привели во двор, где уже стояли человек шестьдесят, и это была не толпа зевак: люди стояли полукругом, по краю, оставив середину пустой.

Такой пустоты я в жизни насмотрелся достаточно, чтобы понимать, что в неё сейчас кого-то поставят.

В середину поставили меня.

Спираль вышел из своего дома неторопливо, как всегда, и заговорил, и говорил он на этот раз не мне, а двору, и говорил долго.

Я разобрал шесть слов и три из них были «нож».

Он показал на мой пояс. Потом обвёл рукой людей. Потом произнёс что-то короткое, и по двору прошло движение — не злое, оживлённое. Как перед представлением.

А потом он посмотрел вбок и назвал имя.

Из-за спин вышел Обрыв.

Он был без рубахи, босой, и на ходу разматывал с левой руки полосу ткани. Не смотрел на меня. Смотрел куда-то в землю перед собой.

Я стоял в пустом кругу, и до меня очень быстро дошло, что происходит.

Мне вчера принесли благодарность за лодку. Одиннадцать человек. Один из них хлопнул меня по плечу.

Спираль это тоже видел.

И назначил проверку.

Не отобрать нож — отобрать нельзя, он же его сам мне при всех отдал. А вот выяснить при всех, имеет ли право чужак носить лучшее железо на острове, — можно.

И проверять будет не он.

Проверять будет тот единственный человек, который за шесть дней ни разу не назвал меня дураком.

Обрыв домотал ткань, бросил её на землю и наконец поднял на меня глаза.

Взгляд у него был извиняющийся.

Что мне сильно не понравилось. Извиняются заранее, когда собираются сделать хорошо.

Глава 6 "Нож, которого не бывает"

Глава 6. Нож, которого не бывает

Ставку я понял. Ставку Спираль объявил двору вслух, и три раза в его речи было слово «нож».

А вот правил мне никто не объяснил.

Это, если хотите знать, и было самое неприятное во всём деле. Я стоял в пустом кругу перед шестьюдесятью людьми, напротив меня разминал плечи молодой мужик, я точно знал, за что мы бьёмся, — и не знал ответа ни на один из вопросов, с которых начинается любая драка.

До чего идём? До первой крови? До того, как один не встанет? До смерти?

Можно ли бить в горло? Можно ли ломать? Что здесь считается победой, а что — позором? Кто останавливает?

Я перебрал в голове всё, что видел за восемь дней, и не нашёл ни одной подсказки. Драк при мне не было. Ни одной, даже пьяной, — потому что тут, кажется, и пили-то нечего.

Я поймал Тиссу глазами. Она стояла с краю, у стены, и лицо у неё было такое, что мне стало ещё хуже.

Я показал: до чего? Провёл ребром ладони по горлу и поднял брови.

Она замотала головой — резко, испуганно.

Ну хоть что-то.

Тогда я показал: связать? Изобразил руки за спиной.

Она чуть кивнула. Неуверенно.

Потом показала: лежит. Положила ладонь плашмя. И сверху накрыла второй. Понял.

До того, как один окажется на земле и второй его удержит. То есть до контроля, а не до крови.

Это меня несколько успокоило — ровно до той секунды, пока я не сообразил, что это она думает, что так, потому что так делали при ней.

Спрашивать было больше не у кого.

Я потратил следующие полторы минуты на то, чтобы посмотреть на Обрыва.

Смотреть я умею. Это, наверное, вообще единственное, что я умел лучше всех на этом острове.

Двадцать два года. Метр семьдесят, может, чуть меньше. Килограммов семьдесят пять — и это не жир, жира на нём вообще не было.

Гребец. Плечи посажены назад и вниз, трапеции развиты неравномерно, правая крупнее. Кисти как у слесаря, костяшки сбиты, ногти сорваны. Предплечья толще моих, при том что вся рука тоньше.

Стоял он хорошо: чуть шире плеч, вес по центру, колени мягкие. Никакой стойки, никаких кулаков у подбородка — просто человек, который умеет стоять на качающейся палубе и которого трудно свалить.

Он не боксёр. Тут вообще, судя по всему, нет ударной культуры: не видел ни у кого сбитых суставов на первых фалангах, а их у бойца не спрячешь.

Он борец. Он полезет в захват.

Он полезет в захват, потому что молодой сильный мужик всегда лезет в захват, а этот к тому же всю жизнь тянет весло и знает, что в захвате он никого не отпустит.

И ещё одно.

Он спускался ко мне с обрыва в первый день. С двадцатиметрового обрыва, ночью, бесшумно, в темноте, и вышел ровно у меня за спиной, оттуда, откуда я никого не ждал.

Я про него всё понимал.

А теперь про себя.

Восемь суток.

За восемь суток я потерял, по ощущениям, килограммов шесть. Ел я примерно втрое меньше, чем мне нужно, и ел ячменную кашу и сушёную рыбу, то есть углеводы и соль. Спал по четыре часа урывками. Обгорел так, что спина до сих пор мокла в двух местах. Пил ровно столько, сколько наливали, и не больше.

Я проверил себя утром, встав с соломы: присел двадцать раз. На восемнадцатом поплыло. Двадцать приседаний.

Я прекрасно знал, во что это выливается в схватке. Первые секунды у меня будут — за счёт нервной системы, она держится дольше мышц. А потом очень быстро наступит момент, когда я перестану успевать.

Я прикинул честно, без скидок.

Двадцать секунд полноценной работы. Может, двадцать пять.

Дальше я не проигрываю — дальше меня рвут.

Значит, у меня в голове с первой секунды пойдёт обратный отсчёт, и если на цифре «двадцать» всё ещё будет продолжаться, надо будет делать что-то отчаянное и, скорее всего, ломать человека всерьёз.

Чего я делать не хотел совершенно.

Само правило я собрал из речи Спирали уже стоя в кругу — по трём словам, которые понял, и по тому, куда он показывал рукой. Остальное вечером подтвердила Тисса.

Если переводить на человеческий, звучало оно так: лучшее оружие рода при том, кто род защищает.

Не «сильнейшему». Не «победителю». Именно — тому, на ком лежит защита. Это должность, а не приз.

Мой нож с первого дня был лучшим оружием на острове с огромным отрывом. Три медных кинжала у трёх глав домов не считались — они были для того, чтобы их носить, а не резать.

А защита рода лежала на Обрыве, и лежала законно: он был лучшим лодочником, он был племянником Спирали, и он был единственный, кто в свои двадцать два выходил в море за старшего.

То есть правило было настоящее. Не выдуманное вчера под меня.

Спираль его не сочинил. Он просто вспомнил его в нужный момент.

Это, между прочим, вторая по мерзости вещь, которую умеют делать люди у власти, и я в жизни насмотрелся на неё столько, что уже не удивляюсь. Не надо издавать несправедливый закон. Надо взять справедливый и применить сегодня.

Накануне ночью Тисса пыталась меня о чём-то предупредить.

Она пришла и села рядом на солому — впервые за всё время подошла сама, — и начала говорить, и говорила долго, и я не понял почти ничего. Я и сейчас думаю, что она сама знала немного: по двору с вечера ходил слух, а такие круги при ней собирали два раза за всю жизнь.

Что будет круг, она понимала. Что в нём делают и чего в нём нельзя — вряд ли.

Потом она взяла палку.

Нарисовала двух человечков. Стоят друг против друга.

Потом одного положила. Провела над ним черту — земля.

И постучала палкой по этой черте: тук, тук, тук. Много раз. Я показал: что?

Она отложила палку и сделала жест, которого я до этого не видел ни разу: провела ладонью от плеча вниз, будто что-то сняла и уронила.

Потом показала на нишу с мешочком бирок.

И развела руками. Дошло.

Тот, кто ложится, теряет положение. Не жизнь и не здоровье — положение. Он падает вниз, к тем, у кого нечем, и вместе с ним падает его дом.

Я лежал в темноте и очень отчётливо считал.

Я и так был на самом дне. Ниже меня в этом посёлке не было никого: у меня не было ни дома, ни рода, ни имени, ни одежды, только три бирки на плоском камне. Мне падать было некуда.

А ей — было.

Она приняла меня в дом. Три дня назад ей это стоило трёх брусочков. Если я лягу на камни во дворе, ей это будет стоить остального.

Я повернулся и посмотрел на неё в темноте.

— Ниссо? — спросил я, потому что других слов у меня не было.

И показал: он, я, вода, рука на груди.

Я вытащил твоего брата. Ты меня взяла. Теперь я тебя топлю.

Она поняла.

И ответила очень коротко, одним движением: махнула рукой — то ли «не о том», то ли «поздно», то ли просто «спи».

Утром она мне ничего не сказала. Стояла у стены и смотрела.

Шестьдесят человек собрались посмотреть, как делят кусок металла размером с ладонь, и ни один из них не пришёл смотреть на металл.

Спираль сказал несколько слов и отступил к стене.

Обрыв шагнул в круг.

И тогда я сделал то, чего от меня не ждали.

Я вытащил нож из-под тряпки, снял ножны и бросил их вместе с ножом в середину круга, между нами.

Он лязгнул о камень.

По двору прошёл звук.

Дело было вот в чём. Спираль всё устроил так, что нож был моим — а значит, я его защищаю, а Обрыв на него посягает. В такой рамке я уже проиграл, потому что защищающийся всегда выглядит хуже.

Я эту рамку сломал в одну секунду. Нож лежал на земле, ничей.

Теперь вопрос был не «отберут ли у чужака». Вопрос был «кто его поднимет».

Обрыв посмотрел на нож. Потом на меня.

И — я это увидел — усмехнулся.

Понял. Всё понял. И, по-моему, ему это понравилось.

Он тоже отцепил от пояса свой обсидиановый и отбросил в сторону, за круг.

«Ваша задача — не победить противника. Ваша задача — не дать ему применить.

Он может быть в сознании, злой и здоровый. Это неважно, если он не может привести оружие к вам.

Линия оружия. Первым делом и единственным делом. Уберите линию — и человек станет просто человеком».

Гуляев. Спортзал, маты, третий курс, и я тогда, помнится, был очень недоволен, потому что нас в очередной раз не научили ничему красивому.

Здесь ни у кого не было оружия. Но линия была.

У борца линия — это его захват. Захват — это его инструмент, и всё остальное в нём не работает, пока он не взялся. Гребец с такими кистями, взявшись за меня, кончит дело за десять секунд, а я к тому моменту, напомню, буду иметь ещё десять.

Значит, работаем не с человеком. Работаем с его руками.

Не дать взяться.

Он пошёл.

Не бросился — пошёл, ровно, боком, приставным шагом, держа руки низко и открыто, ладонями вниз.

Грамотно, кстати. Так идёт человек, который собирается схватить, а не ударить.

Я не стал отступать.

Вот это, наверное, было единственное красивое, что я сделал за то утро, и сделал я это не из красоты, а из арифметики: у меня двадцать секунд, и я не могу позволить себе кружить.

Раз.

Он вышел на дистанцию и потянулся правой к моему левому запястью.

Я не убрал руку и не отбил. Я шагнул вперёд и наискось — влево и внутрь, ему под правое плечо, туда, где его правая рука уже вытянута и больше не может ни толкнуть, ни притянуть.

Он этого не ждал. Никто не ждёт, что от захвата шагнут в захват.

Два.

Его ладонь легла мне на предплечье и начала сжиматься.

Я не стал вырываться — вырываться из такой кисти бессмысленно, я бы просто потерял секунды.

Я накрыл его кисть своей левой сверху, прижав к своему же предплечью. Теперь он держал меня, а я держал его руку у себя. Он не мог отпустить.

Три.

Он рванул меня на себя, всей спиной.

И вот тут я едва не кончился.

Я не устоял на рывке — сил не хватило, — и он дёрнул меня на себя, и моя сожжённая спина проехала по его плечу.

Описывать тут нечего. Скажу только, что у меня на две десятых секунды выключилось зрение.

Четыре.

На автомате. Полностью на автомате, головы там не было вообще.

Правой рукой я нашёл его локоть снизу и толкнул вверх и через — не на себя, а поперёк его же груди.

Локоть пошёл. За локтем пошло плечо. За плечом развернулись оба его плеча, и человек, который тянул меня на себя всей массой, вдруг обнаружил, что тянет мимо.

Это самая простая вещь на свете, и она работает на любом весе. Не спорь с силой. Проведи её на два пальца мимо цели.

Пять.

Он потерял линию плеч и на четверть секунды остался на одной ноге — на левой, потому что правой уже шагал, чтобы догнать собственный корпус.

Я подбил левую изнутри.

Не подсечка. Просто поставил свою стопу к его стопе и убрал ей опору вбок.

Шесть.

Он пошёл вниз.

И вот тут я сделал то, о чём потом полгода говорил весь остров, и сделал я это не ради театра.

Я не отпустил его руку и не дал ему упасть свободно.

Я довёл его до земли — придержав за ту самую кисть, которую он в меня вцепил, — и второй ладонью поймал его затылок.

Двор был утоптан до состояния камня, и там, где он падал, из земли выходила плита. Под затылком у него был камень. Молодой мужик, падающий с высоты своего роста без страховки, разбивает об этот камень голову, и это не фигура речи, это просто физика.

Моя ладонь легла между ним и камнем.

Семь.

Он лёг.

Я лёг на него — не всем весом, боком, поперёк груди, — вытянул его правую руку вдоль своей и завёл её локтем себе через бедро.

Восемь.

Я довёл рычаг до того места, где сустав перестаёт гнуться и начинает ломаться. И остановился. Он замер.

Тишина стояла такая, что я слышал коз.

Я держал его секунды три. Не потому, что нужно было. Мне нужно было три секунды, чтобы отдышаться настолько, чтобы встать и не упасть.

Двор молчал. Потом я отпустил.

Убрал руку с локтя, скатился в сторону, встал на колено, встал на ноги. Всё.

Он лежал ещё секунду, потом сел. Потрогал затылок — там, где была моя ладонь, — и посмотрел на свою руку.

На руке ничего не было. Ни крови, ничего.

Он посмотрел на камень. Потом на меня.

Он всё понял. Он лучше всех во дворе понял, что именно с ним сейчас произошло и чего с ним не произошло.

Меня трясло.

Стоял я прямо, спокойно, руки опустил, дыхание держал через нос — а трясло меня так, что я боялся, как бы не застучали зубы.

Сердце шло за сто восемьдесят. В глазах плыли чёрные мухи по краям. Спина горела так, что хотелось выть.

Восемь секунд.

Восемь секунд, и я был пустой.

Я стоял посреди двора перед шестьюдесятью людьми, которые в эту минуту решали, кто я такой, и главной моей задачей было не сесть на землю.

Я простоял, наверное, минуты полторы.

Потом кто-то — я разглядел только, что это был Мастер, — коротко хлопнул в ладоши. Один раз. И двор загудел.

Через полчаса, когда всё кончилось и люди начали расходиться, я ушёл за крайний дом, к обводу, где никого не было.

И там меня вывернуло.

Стоял, упершись ладонью в стену, и меня выворачивало ячменной кашей, съеденной утром, и потом ещё минут пять сухо и впустую.

Потом я сполз по стене и сидел на земле, пока не перестали дрожать колени.

Восемь секунд работы. Двадцать минут расплаты.

Один раз в жизни я уже делал это же самое и почти так же.

Аденский залив, досмотр, трюм, проход между ящиками шириной в плечи. Человек вышел сбоку с полутора метров, и у него в правой руке был кухонный нож, которым режут верёвку и рыбу. Он был напуган до потери разума и не бил — тряс им перед собой и орал.

Я шагнул к нему, а не от него, положил ладонь на его запястье сверху и прижал руку с ножом к его же бедру.

И держал. Больше ничего.

Через двадцать секунд он выпустил нож, потому что рука затекла. Через минуту сидел на ящике и пил воду из фляжки Гагарина. Ему было восемнадцать, он был кок, и он прятался в этом трюме с самого начала, решив, что за ним пришли убивать.

Гагарин потом сказал: «Командир, я думал, ты его положишь». Я ответил, что положить всегда успею.

Я сидел за домом, вытирал рот и очень спокойно думал о том, что если бы Обрыв продержался хотя бы полминуты — не победил, просто продержался, — я бы сейчас лежал во дворе.

Никто этого не знал. Двор в это время рассказывал друг другу, как чужак уложил лучшего лодочника, не сходя с места.

И вот это и есть репутация. Люди видят восемь секунд. Двадцать минут за домом они не видят никогда.

Я потом всю дорогу на этом и держался. Разница только в том, что дальше цена росла.

Дальше был ход, который я придумал ровно в ту минуту, когда встал на ноги, и в котором до последнего не был уверен.

Я подошёл к середине круга и поднял с камней нож.

Народ притих. Все ждали, что я его надену.

Я развернулся к Обрыву, подошёл, присел рядом с ним на корточки и протянул ему нож.

Рукоятью вперёд.

Точно так, как в первый мой день Спираль протянул его мне.

Во дворе никто не издал ни звука.

Схема была не моя. Я её у него и взял.

Спираль тогда, при всех, вернул мне мою же отобранную вещь — и превратил её в подарок. Не отобрал, а дал. И тем самым записал на меня долг, который я до сих пор ношу тремя брусочками на плоском камне.

Я эту схему разобрал и повторил.

Только теперь ситуация выворачивалась наизнанку. Потому что взять нож у меня из рук Обрыв мог только одним способом: приняв его в подарок от чужака, которого он у всех на глазах только что не смог свалить.

Он бы получил нож.

И перестал бы быть тем, кто его выиграл.

Я сидел перед ним на корточках, держал клинок за лезвие и очень хорошо понимал, что это не благородство. Это была подножка, поставленная так, чтобы упал не он, а тот, кто всё это затеял.

Обрыв смотрел на нож долго. Потом на меня.

Он не был дурак. Ни капли. Он всё просчитал, я видел, как он это делает, — точно так же, как вчера на берегу пересчитывал, во что ему обойдётся сказанная правда.

Он поднял руку и отвёл клинок от себя.

Ладонью. Мягко. Как отводят угощение, которое не по чину.

И сказал три слова, громко, на весь двор.

Я потом узнал, что он сказал: «Он при тебе».

Не «оставь себе». Не «мне не надо». Их оборот, тот самый, где нет глагола «иметь». Вещь не принадлежит — вещь при человеке.

«Он при тебе».

То есть: этот нож находится там, где ему следует находиться.

Спираль вышел в круг.

Я ждал, что он разозлится. И он, конечно, разозлился, но я это увидел только по одной детали: он на секунду задержался, прежде чем заговорить.

Один раз за восемь дней.

Потом он заговорил, и заговорил спокойно и с той же ровной интонацией, что всегда, и говорил минуты две.

Из этих двух минут я разобрал слов пятнадцать, и ещё пятнадцать мне вечером объяснила Тисса, и суть была такая.

Правило соблюдено. Оружие рода при том, кто способен его удержать. Это проверено, все видели.

Но раз оружие рода при чужаке — значит, и защита рода частью лежит на нём.

С сегодняшнего дня Курса стоит при Амассе.

Вот тут я восхитился.

Я в жизни проигрывал аппаратные бои, и я знаю, как выглядит человек, который проиграл и делает вид, что так и задумал. Это всегда видно.

Тут было не то.

Он не сделал вид. Он за две минуты взял ситуацию, которая складывалась против него, и повернул её так, что вышло лучше, чем если бы Обрыв меня свалил.

Нож он не отобрал — он привязал его к обязанности, и с этой минуты это была не моя вещь, а инструмент службы, а служба была его. Меня он посадил к источнику, то есть отправил единственного человека на острове, способного стать проблемой, туда, где за ним с утра до

вечера смотрят двое дежурных и откуда он никуда не денется. И, главное, он взял мою победу и сделал из неё моё назначение: двор не запомнил, что чужак положил племянника главы. Двор запомнил, что теперь чужак сторожит их воду.

Я стоял, слушал, как он одобрительно гудит, и думал: до чего же он хорош.

И: ох, как же мне с ним будет тяжело.

Имя случилось само.

Кто-то в толпе выкрикнул — не мне, а соседу, — и я разобрал в этом выкрике два слога.

«Ку-урса!»

Потом ещё кто-то. Потом мальчишки, которые всегда подхватывают быстрее всех, стали орать это уже хором, и кто-то из женщин на них шикнул, и не помогло.

К вечеру меня так звал весь посёлок.

Я слышал, что взрослые мужики произносят это с каким-то усилием, а бабы отворачиваются, и не понимал почему.

Мне было всё равно. Мне и правда было всё равно ещё долго.

Днём Обрыв прошёл мимо меня дважды и оба раза не посмотрел.

Первый раз я решил, что не заметил. Второй раз я стоял у него на дороге, и он обошёл меня, как обходят вкопанный столб.

Я это, между прочим, понимал прекрасно. Проиграть при шестидесяти свидетелях — это одно. Проиграть и тут же пойти брататься с победителем при тех же шестидесяти — совсем другое, и после такого человека перестают ставить за старшего.

Так что он ждал темноты, и я его за это не осуждал.

Он подошёл ко мне ближе к вечеру, когда двор опустел, а я сидел у стены и приходил в себя, — а приходил я в себя часа четыре.

Сел рядом на корточки. Помолчал.

Он пришёл не мириться. Он пришёл с делом, и я это понял по тому, что он сел не напротив, а рядом, лицом в ту же сторону, — так садятся, когда собираются что-то показывать, а не выяснять.

Но сначала он ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

— Кинт.

Я посмотрел на него.

Восемь дней я звал его про себя Обрывом. Восемь дней он был для меня функцией: «молодой, гребец, лучший, племянник, спускается по скалам». Очень удобная штука, функция. С ней всё понятно.

— Курса, — сказал я и ткнул себя.

Он фыркнул.

Я показал на себя, повторил «Курса» и изобразил на лице вопрос: что смешного?

Он прикинул, стоит ли объяснять чужаку, и всё-таки объяснил — жестами, на пальцах, долго.

В их языке слова на «-а» — женские. Все. Без исключений.

То есть весь посёлок восьмой день звал взрослого мужика с ножом на голени примерно так, как если бы по-русски он представился Наташей. Половина деревни тихо давилась. Вторая половина уже привыкла и не замечала.

Он ждал, что я обижусь.

Я засмеялся. И вот тут я в первый раз услышал, как смеётся он, и понял, что ему двадцать два года, и до этого дня я как-то умудрялся про это не думать.

Ниссо был в бешенстве.

Ему, естественно, ничего не было видно — он лежал в доме со своей шиной и слушал, как во дворе орут шестьдесят человек и ни один не удосуживается ему рассказать.

К вечеру ему пересказали раз восемь.

Я лежал в своём углу и слушал, как история растёт.

К третьему пересказу я уже держал Кинта одной рукой. К пятому — поймал его в воздухе. К седьмому — по версии девчонки лет одиннадцати, которую я в глаза до этого не видел, — я его перекинул через себя так, что он пролетел до самой стены.

Ниссо слушал с открытым ртом и требовал ещё.

Тисса, толча зерно в углу, один раз посмотрела на меня.

Ничего не сказала. Просто посмотрела и вернулась к ступке.

Я тогда не разобрал, что это был за взгляд.

При Амассе я отстоял в тот же день.

Черпак отвёл меня наверх после полудня, поставил на площадку, показал на камень у стены и сказал одно слово, значение которого я к тому времени уже знал: сиди.

Я сел.

И просидел четыре часа, и это были очень полезные четыре часа.

Вот что я узнал, просто сидя на камне.

Дежурных двое, и меняются они в середине дня, но смена не строгая: один уходит, второй остаётся, и новый приходит когда придёт. То есть полчаса в сутки на площадке один человек.

Ключей нет. Замков нет вообще — ни одного на весь остров. Чашу не запирают, потому что запирать нечем и незачем: тут не воруют воду. Тут просят.

Ночью на площадке никого. Совсем. Я спросил — Черпак посмотрел на меня как на идиота и сказал: ночью никто не ходит.

И ещё одно, самое интересное.

За четыре часа мимо меня прошло восемнадцать человек с посудой, и каждый из них, подходя, говорил слово. Не «дай». Не «здравствуй».

Каждый называл свой дом.

Я не сразу понял, а потом сообразил: они не просят воду. Они называют, кому её записать.

Это не колодец. Это касса.

И меня посадили в неё кассиром.

Я сидел на камне над посёлком, смотрел, как люди по одному называют себя, чтобы получить два черпака, и очень медленно доходил до того, что Спираль не просто нейтрализовал меня, а сделал кое-что похуже.

Он поставил меня по свою сторону.

Через неделю люди снизу перестанут видеть во мне того, кто им сушил сети, и начнут видеть того, кто сидит наверху рядом с ковшом.

Я это понял в первый же день.

Как с этим быть, я не понимал ещё месяц.

К мысу мы пошли на закате.

Как я его позвал — отдельная история, и она короткая: я взял палку, начертил на земле линию берега, поставил крестик на западном мысу, ткнул в него, потом в себя, потом в Кинта.

Он посмотрел на рисунок ровно две секунды. И встал.

Никаких вопросов. Никаких «зачем» и «а что там».

Он встал сразу, и по тому, как он встал, я понял, что мне ничего не придётся объяснять. Он думал про этот мыс не первый день.

Мы поднялись на Кунду, когда солнце было уже над самой водой.

Я не стал ничего показывать. Мне было интересно, что он покажет сам.

Он подошёл к нижнему валуну — тому, который лежал у самого края и под которым земля была темнее, — и остановился над ним.

Потом обернулся и посмотрел на меня.

Я кивнул.

Тогда он присел, обхватил камень и, кряхтя, откатил его на полтора метра в сторону и вниз. Поставил.

Отряхнул руки. Отошёл на пять шагов, посмотрел вдоль — так же, как смотрел я, — и удовлетворённо кивнул.

Потом вернул камень на прежнее место.

Я стоял и смотрел, и по хребту у меня шёл холодок, потому что этот парень только что без единого слова сказал мне ровно то, что я думал: камень лежал раньше вон там, и его двигали, и он, Кинт, это знает.

Он показал ямку с кострищем — я туда даже не смотрел, а он подвёл и показал.

Потом присел на корточки и разровнял ладонью землю.

И начал чертить.

Провёл длинную горизонтальную черту. Ткнул в её левый конец, потом ткнул в солнце и повёл рукой по небу справа налево — и повторил это движение много раз подряд, быстро, как перематывают.

Годы. Черта — время.

Потом он поставил на этой черте вертикальную засечку. И рядом с ней, чуть выше, начертил маленькую фигурку.

Чёрточка. Две косые внизу.

Тот самый человечек, которого я два дня назад держал на ладони на глиняной бирке.

Он поставил вторую засечку, дальше по черте. И над ней — второго человечка.

Третью засечку. Третьего человечка.

Потом он ткнул палкой в валун за своей спиной.

И трижды повторил одно движение: откатил воображаемый камень и вернул. Раз. Два. Три.

Три раза двигали камень.

И три раза — человечек.

Я сидел на корточках напротив этого рисунка, и солнце садилось мне в глаза, и я, по-моему, минуты две вообще не мог думать.

Потом протянул руку и ткнул в первую засечку.

Поднял голову.

Кинт помолчал. Потом сказал слово — одно, короткое, и я его знал, потому что оно было первым, которое до меня дошло вообще.

«Куннис». Чужак.

Нет. Не так. Я потом разобрался: у них это слово шире, чем «чужак». Это «тот, кто не при доме». Человек без своих. Должник, у которого нечем.

Я ткнул во вторую засечку.

Он сказал два слова. Одно знакомое: «пупи». Ребёнок.

Я ткнул в третью. Он молчал долго.

Потом поднял палку и рядом с третьим человечком нарисовал ещё одну фигурку — побольше. И провёл от неё короткую линию вниз, к горизонтальной черте, будто прикрепил.

Потом посмотрел на меня и открыл рот — и не сказал.

Оглянулся. Вниз, на тропу, хотя за нами на этом мысу не было ни души, и оглянулся он не на человека, а на посёлок вообще.

И только после этого произнёс имя. Тихо, коротко, на выдохе, как произносят то, чего произносить не следует.

Имени я тогда не знал. Я услышал только звук: «Са́рно».

Я отметил, как он это сделал, и отложил. Тогда я решил, что он боится Спирали.

Кинт смотрел на меня и ждал, узна́ю ли я.

Я не узнал.

Он тогда встал, отряхнул колени и показал рукой вниз, на посёлок, туда, где в нижнем ряду стоял крайний дом с тремя горшками в нише.

Дом, в котором мне отвели угол у двери.

И только тут до меня дошло, чьё имя он назвал.

Мы спускались в темноте, молча, и я думал об одной вещи.

Всё это время я считал, что распутываю нападение.

А передо мной на камне только что нарисовали расписание.

Камни двигают. После этого пропадает человек. Всегда должник. Всегда тот, у кого нечем. И всегда — не сразу, а через какое-то время, потому что между засечкой и человечком у Кинта был зазор.

Три раза за то время, что этот парень помнит.

И где-то на этой линии, третьей засечкой, стоял отец Тиссы.

А в нише крайнего дома нижнего ряда лежала глиняная бирка с человечком, и Тисса, показывая мне её, смотрела в угол, где спал мальчишка со сломанной ногой.

Я шёл вниз по козьей тропе за спиной у Кинта и очень отчётливо понимал, что молчать мне осталось недолго.

И что четыре ночи назад кто-то из этого посёлка стоял на склоне и отвечал огнём в море.

А значит, четвёртая засечка уже поставлена.

Глава 7 "Остров, увиденный сверху"

Глава 7. Остров, увиденный сверху

Кинт пришёл за мной через неделю после мыса.

Пришёл к площадке у источника, где я сидел кассиром при чаше, сел рядом на камень и долго молчал.

Потом сказал два слова и показал рукой на запад.

Я к тому времени знал слов сто двадцать и мог понять простую фразу через раз. Эту понял: «пойдём смотреть».

Показал на себя, потом на площадку и развёл руками: меня не отпустят.

Он усмехнулся и сказал ещё что-то, и в этом «что-то» я разобрал слово, которое означало коз.

А. Ну да. За козами.

За козами на террасы ходят двое-трое, ходят на день-два, и никого это не касается, и никому не приходит в голову спросить, зачем. Отличное прикрытие, и придумал его не я.

Я показал ему: вдвоём?

Он покачал головой и показал два пальца, потом три. Потом ткнул вниз, в сторону нижнего ряда. Тисса.

Я, честно говоря, удивился. Показал: зачем?

Он посмотрел на меня как на дурака и объяснил очень длинно, и я понял примерно четверть, а остальное дошло потом, на месте, само.

Он знал воду. Он знал каждый камень под килем в главной бухте, знал, где мель, где течение, где можно пройти в отлив.

А берег он знал плохо.

Тропы, распадки, где стоит вода после дождя, где проходят козы, где заброшенные террасы и что на них растёт, — это знали женщины. Потому что двадцать лет по этим тропам ходят они, а не он.

Мне нужны были оба.

Глину я пошёл просить к Мастеру.

Мне нужна была карта. Не в голове — в голове я держал уже примерно всё, но у меня в голове это лежало кусками, а куски надо было свести, а сводить в уме, когда третьи сутки спишь по четыре часа, — это самообман.

Мне нужна была плитка сырой глины, на которой можно нацарапать и потом стереть.

Мастер сидел на своём пороге, как всегда. Между колен камень, в руке палка с костяным наконечником, слева кучка готовых пластин, справа кучка бракованных.

Он поднял на меня глаза и, не здороваясь, кивнул на бракованные: бери, если надо.

Я сел рядом на корточки и показал: не то. Сложил пальцами прямоугольник, изобразил, будто царапаю, и показал на землю — мягкое.

Он подумал секунду.

Потом отложил работу, встал, скрылся в доме и вернулся с куском сырой глины размером с две ладони, завёрнутым в мокрую тряпку.

Развернул. Отщипнул половину. Оставшуюся половину аккуратно завернул обратно и унёс в дом. Мне, значит, половину.

Я взял, размял, раскатал ладонью на пороге в лепёшку и попробовал провести ногтем черту. Получилось.

Он смотрел.

Я показал ему пальцем на него самого и поднял брови.

Он не понял.

Я показал на себя и сказал:

— Курса.

Потом показал на него.

Старик посмотрел на меня очень долго. Я так и не понял, что там у него в голове было — то ли он удивился, что чужак спросил, то ли удивился, что чужак спросил только на пятнадцатый день.

Потом ткнул себя в грудь и сказал:

— Ту́ло.

И вернулся к камню.

Я шёл обратно с куском глины в руках и думал одну вещь, за которую мне было неловко.

Пятнадцать дней. Пятнадцать дней я ходил мимо этого человека, брал у него лезвия, смотрел, как он работает, и держал его в голове под кличкой «Мастер».

Функция. Очень удобно. С функцией всё понятно: что делает, чем полезен, куда приложить.

Про это мне на выпуске и было сказано. Тогда я решил, что меня похвалили.

Вышли до света.

Я поставил себе задачу на два дня и разложил её так, как разложил бы её на службе: не «посмотреть остров», а собрать привязку.

Работал я по старинке, потому что другого способа не было.

Счёт. Пары шагов. Одна пара — примерно полтора метра. Считаешь до сотни, загибаешь палец, считаешь заново. Десять пальцев — тысяча пар, полтора километра. Дальше перекладываешь камешек из кармана в карман, только карманов у меня не было, так что я перекладывал камешки из левой ладони в правую и выглядел, полагаю, как идиот.

Направление. По солнцу и по тени. Утром тень длинная и идёт на запад, в полдень короткая и на север, вечером на восток. Точность так себе, градусов десять, но мне не в артиллерию.

Привязка. Самое главное. Каждую точку я привязывал не к «примерно там», а к двум ориентирам разом: вершина северного гребня и седловина. Если ты видишь оба и знаешь, под каким углом они разошлись, ты знаешь, где стоишь. Это делается на глаз и после сотни повторений — с точностью шагов до сорока.

Кинт и Тисса первые часа два смотрели на меня как на больного. Потом Кинт спросил.

Я не смог объяснить. Я показал: считаю. Показал: смотрю туда, туда. Потом развёл руками и стукнул себя по лбу.

Он не понял. А Тисса поняла.

Она поняла не то, что я делаю, а зачем: она увидела, что я собираю в голове что-то, что потом можно достать целиком.

И на привале, когда я вынул из-за пазухи глиняную лепёшку и начал царапать, она встала и отошла на три шага.

Я поднял голову.

Она смотрела на мою руку.

И лицо у неё было точно такое, как в тот день, когда я нарисовал в пыли человечка при Ниссо.

Я не сразу сообразил, а потом сообразил и похолодел.

На этом острове царапают по глине один человек.

Я убрал лепёшку.

Не спрятал демонстративно, а просто убрал, будто закончил.

И потом два дня чертил только тогда, когда Тисса была далеко, и это, между прочим, было первое, что я на Саринте сделал тайком.

Кинт, кстати, не испугался вообще. Он подсел, посмотрел, потыкал пальцем в мои каракули и сказал что-то с вопросительной интонацией.

Я показал: это бухта. Это источник. Это мыс.

Он смотрел на плитку, потом на настоящий мыс, потом опять на плитку.

Потом поднял на меня глаза, и вот тут у него сделалось лицо, которое я узнал мгновенно, потому что видел его сто раз у молодых лейтенантов, впервые получивших нормальную карту вместо схемы «от берёзы направо».

Он понял, что можно смотреть на остров сверху.

К полудню первого дня я сделал открытие, которое перевернуло мне всё представление о том, где моё преимущество.

Мы шли по южным террасам, заброшенным лет тридцать назад. Сухие подпорные стенки, одичавший инжир, козьи катышки.

Я спросил у Тиссы про распадок слева: есть там вода после дождя?

Она ответила подробно, показала, где стоит и как долго.

Я спросил у Кинта, что за камни торчат из воды под этими террасами и можно ли там пройти на чёлне.

Он развёл руками. Он там не был.

Он не был. Лучший лодочник острова не знал южного берега своего острова, потому что южный берег никому не нужен: там нет ни рыбы, ни бухты, и ходить туда незачем.

Я спросил Тиссу, откуда виден западный мыс.

Она не знала, потому что женщины на мыс не ходят.

Я спросил обоих, сколько идти от седловины до северной оконечности.

Кинт сказал: полдня. Тисса сказала: до полудня, если не гнать. Это, между прочим, разные вещи.

И вот тогда я сел на камень и понял.

Никто на этом острове никогда не видел этот остров.

Каждый знал свой кусок, и знал его в тысячу раз лучше, чем я узнаю за год. Тисса знала каждую тропу и каждый распадок так, как я не буду знать никогда. Кинт читал воду в бухте, как я читаю схему судна.

Но никто и никогда не складывал куски вместе.

Незачем. За всю жизнь человеку тут не нужно знать остров целиком — ему нужно знать свои сорок гектаров, и он их знает.

Я четыре года прожил в Мурманске и знал в нём шесть маршрутов: дом — база, дом — магазин, дом — вокзал, дом — к Ерёмину на Гагарина и ещё два. Что находится в двух

кварталах от моего подъезда, я не знал ни разу за четыре года, и меня это не беспокоило, потому что мне туда было не надо.

Так живут все. Так жил я. Так жили они.

Разница между мной и ими была не в уме. Кинт соображал быстрее меня, я это уже понял.

Разница была в одной-единственной привычке, которую в меня двенадцать лет вбивали палкой: сводить куски в одну картинку, даже когда тебе туда не надо.

Вот и всё моё преимущество. Больше у меня ничего не было.

К вечеру первого дня карта в голове сложилась.

Остров шёл с северо-востока на юго-запад, километров шесть в длину. Два каменных гребня, между ними седловина. На востоке — главная бухта, галечная, единственное место, где можно вытащить варду. На юге — старые террасы и под ними длинная отмель с рифовой грядой мористее: сесть можно, но лодку придётся бросить на воде и идти двести метров по пояс.

На севере — глыбовый навал под невысоким обрывом, постоянный накат, ни пляжа, ни подхода. Кинт сказал, что там не высаживаются никогда, и я ему поверил, посмотрев на воду.

А на западе были обрывы.

Двадцать метров отвесно, на протяжении полутора километров, с чёрными потёками. Я видел их с седловины в первый же день, когда меня вели на верёвке, посмотрел и сделал вывод. Стена. Непроходима.

Ночевали мы на старых террасах.

Это оказалось лучшее место на острове: подпорные стенки держат тепло до полуночи, есть где укрыться от ветра, а сверху видно и бухту, и седловину.

Кинт развёл маленький огонь в яме за стенкой — маленький, за стенкой, и это он сделал сам, без моих подсказок. Я, помню, отметил.

Ели сушёную рыбу и лепёшку. Пили мало, потому что несли на себе.

Я сидел, разминал глину и смотрел на террасы.

Их было много. Гораздо больше, чем нужно двумстам человекам. Они шли по всему южному склону ярусами, сухие каменные стенки в человеческий рост, и на них ничего не росло, кроме колючки и одичавшего инжира.

Я показал Тиссе: это. Много. Пусто. Почему?

Она объяснила коротко и без всякой мистики.

Раньше жили больше. Я показал: сколько?

Она подумала и показала на пальцах. Потом ещё раз, на двух руках. Потом махнула — много. Я показал: когда?

Она ответила словом, которое я знал: «отцы». Не «деды». Отцы.

То есть на памяти живых.

Я сидел у огня и складывал: на этом острове тридцать-сорок лет назад людей было заметно больше. Столько, что им нужны были все эти террасы. А потом стало меньше, и террасы забросили, и никто их не чинит.

Я показал: почему меньше?

И вот тут Тисса посмотрела на Кинта.

Не на меня. На Кинта.

Они поругались.

Я не понял почти ничего, и это, наверное, к лучшему, потому что понял главное — а главное было в громкости, в паузах и в том, кто первым отвёл глаза.

Начала она. Сказала фразу — коротко, зло, глядя в огонь, а не на него, — и в этой фразе я разобрал два слова: «отцы» и «ушли».

Он ответил длинно и с усталой интонацией человека, который отвечает это не в первый раз. Из его ответа я вытащил «море» и «сами».

Ушли сами. Море.

Она сказала ещё короче, и там было «нет».

Он повысил голос — единственный раз за два дня — и в том, что он выкрикнул, было слово, которое я слышал каждый день по двадцать раз: «должен».

А она произнесла три слова, и первым из них было «амасса».

И Кинт замолчал.

Молчал он долго, минуты полторы, глядя в огонь и катая в пальцах щепку.

Потом сказал что-то тихо, и это уже было не возражение.

Из всего разговора я вынес три вещи.

Первая: людей стало меньше не от мора и не от войны. Иначе она бы не смотрела на Кинта, а Кинт бы не отвечал устало.

Вторая: это как-то связано с водой.

Третья, и она была для меня новой: между этими двумя людьми, которые сегодня целый день ходили со мной по одним тропам и делили одну лепёшку, лежало что-то старое и очень тяжёлое, и оно лежало ровно по линии «верхний ряд — нижний ряд».

Я тогда впервые всерьёз задумался, чего мне стоила эта пара.

Кинт был племянником человека, который держал воду. Тисса была из дома, который эту воду был должен четырнадцать раз.

Они пришли сюда вдвоём, потому что я попросил.

И, судя по тому, как они друг с другом говорили, до меня они последний раз разговаривали, наверное, детьми.

Ночью я не спал — по обыкновению — и лежал, смотрел в небо.

Звёзд тут было столько, что первые ночи мне было физически неуютно. Городской человек не понимает, сколько их на самом деле, пока не окажется там, где нет ни одной лампочки на сорок километров.

Я нашёл Полярную, отбил по ней направление на север и на этом остановился.

Проверять по ней что-нибудь ещё мне в ту ночь не хотелось.

Тисса не спала тоже.

Она лежала по ту сторону остывающего огня, и в какой-то момент заговорила.

Не со мной. В темноту.

Она говорила долго, тихо и ровно, и я понял слов двадцать, и из этих двадцати три раза было слово «атта».

Отец.

Я не шевелился и не подавал виду, что слушаю.

Она сказала — я собрал это потом, за неделю, по кусочкам, — что он ушёл ночью. Не утром, как ходят на промысел. Ночью. И не с сетью. Он нёс сосуд.

Запечатанный сосуд, который надо было отнести в западную бухту.

Она была девчонкой и видела, как он уходит, и он сказал ей вернуться в дом.

Больше она его не видела.

А наутро сказали, что он ушёл в море и не вернулся, и мать поставила за седловиной пустой сосуд, и имя перестали произносить.

Она замолчала.

Я лежал и смотрел в звёзды и думал о том, что через двенадцать часов мы пойдём в западную бухту.

На второй день Тисса привела нас к трещине.

Мы шли по верхней кромке западных обрывов, и она вдруг свернула вниз, в сторону моря, в место, где, с моей точки зрения, никакого места не было.

Я остановился.

Она обернулась и махнула: сюда.

Там был скол. Косая расщелина в теле обрыва, шириной в человека, идущая вниз под углом градусов сорока. Со стороны суши её не видно, потому что она уходит за выступ. Со стороны моря — тем более.

Я стоял и смотрел на неё, и мне стало нехорошо.

Мы спускались минут двадцать. Спускались нормально: не скалолазание, а просто крутая осыпь между двумя стенками, где надо ставить ногу с умом.

А внизу открылась бухта.

Ниппа.

Она была метров восемьдесят в поперечнике, с галечным пляжем на дальнем конце, зажатая между двумя скальными плечами. С воды в неё вёл проход шириной метров двадцать — и вот этот проход был единственным местом на всём западном берегу, где можно войти.

По обе стороны от прохода из воды торчали гряды. Не рифы даже — обломки обрыва, ушедшие в воду.

Я стоял на гальке, смотрел на этот проход и очень медленно доходил до того, что вижу.

Со стороны моря эту бухту не видно. Совсем. Пока не встанешь ровно против входа — а встать против входа, не зная, где он, нельзя, потому что берег тут выглядит сплошной стеной.

Значит, чтобы сюда войти, нужно заранее знать, где вход, и держаться на линии. Держаться на линии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.